

А. М. Грековъ.

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ.

(Эстетическія и этическія начала въ развитіи личности художника)

„Ни одинъ характеръ не былъ бы вполнѣ нами понять, если бы на него не смотрѣли не только съ чувствомъ терпимости, но и симпатии. Ибо въ этомъ случаѣ, ближе чѣмъ въ другихъ, оправдывается истинна, что сердце видитъ даѣше головы“.

Карлайль.

ВЪ ПРИЛОЖЕНИИ:

І.

„ПРОПОВѢДЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ“

ІІ.

ФРАНЦУЗСКІЙ ПЕРЕВОДЪ СТАТЬИ ГР. Л. ТОЛСТОГО: „ЖЕНЩИНАМЪ
(изъ XII тома соч.).

ХАКАНОРЪ.

Типо-литографія Н. Я. РАЗИ, Петровская, собств. дѣмъ.

Дозволено цензурою. Москва, 18-го Января 1889 года.

О Г Л А В Л Е Н И Е.

Страница.

Предисловіе	I.
Значеніе вопроса	1.
Глава I. Послѣдній трудъ Кавелина («Задачи этики»)	4.
Глава II. Два различныхъ воззрѣнія на талантъ	7.
Глава III. Гоголь. Безсознательное творчество	17.
Глава IV. Левъ Толстой	23.
Глава V и VI. «Переворотъ». Положительная сторона ученія гр. Л. Толстого	37—46.
Глава VII. Гр. Л. Тостой въ герояхъ собственныхъ произведеній:	
Коля Иртеньевъ	63.
Неклюдовъ	79.
Оленинъ	81.
Кн. Андрей	84.
Пьеръ	95.
Левинъ	97.

Приложени¤:

1) Проповѣдь непосредственности	101.
2) Французскій переводъ статьи гр. Л. Толстого: «Женщинамъ»	133.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемый этюдъ представляетъ первую попытку объяснить извѣстный переломъ въ литературной дѣятельности Гр. Л. Н. Толстого или, сице ранѣе его,—Гоголя,—его причины и послѣдствія, путемъ выясненія взаимныхъ отношеній между двумя началами въ развитіи художника и его таланта: начала эстетического и начала этическаго.

Единственнымъ помощникомъ и руководителемъ въ освѣщеніи и выясненіи затронутаго нами вопроса служила намъ сама личность автора «Войны и Мира», а потому понятно, что «Исповѣдь» его, въ числѣ источниковъ нашихъ, должна была занять самое выдающееся мѣсто, гарантируя, въ тоже время, отъ произвольнаго освѣщенія тѣхъ или другихъ данныхъ изъ литературной дѣятельности Гр. Л. Н. Толстого. Жизнь и литературная дѣятельность названаго писателя, какъ мы увидимъ представляютъ безпрерывную борьбу двухъ вышеуказанныхъ началъ (эстетического и этическаго) и эта же борьба красною нитью проходитъ чрезъ всю жизнь коллективнаго героя произведеній Л. Н. Толстого. Глава о труда Кавелина имѣеть въ нашемъ этюдѣ значеніе линъ «отправнаго пункта.» V-ую и VI-ую главы мы посвящаемъ критическому разбору «ученія» Гр. Л. Толстого.



ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ.

(Эстетическая и этическая начала въ развитіи личности художника).

Значеніе вопроса. — Глава I. «Задачи этики» Кавелина. — Глава II. Эстетическое и этическое воззрѣнія на талантъ. — Глава III. Безсознательное творчество (Гоголь). — Глава IV. Графъ Л. Толстой. — Главы V. и VI. «Переворотъ» и положительная сторона ученія Гр. Л. Толстого. — Глава VII. Графъ Толстой въ герояхъ своихъ произведеній: Коля Иртеньевъ — Неклюдовъ — Оленинъ — Князь Андрей — Пьеръ — Левинъ.

Говоря по поводу IV-го тома сочиненій гр. Л. Н. Толстого, *) мы лишь вскользь замѣтили тогда, что «для судебъ нашей литературы было бы, можетъ быть, лучше, если бы такие великаны ся, какъ Гоголь и Толстой, «обрѣли себя» не *черезъ* творчество, а прежде, чѣмъ начали бы творить», при чемъ выраженіе «обрѣсти себя черезъ творчество» употреблено нами было въ смыслѣ этическомъ по скольку оно помогало выясненію затронутаго нами вопроса о пройденныхъ гр. Л. Толстымъ стадіяхъ своего духовнаго развитія. Между тѣмъ, послѣ уже, по болѣе тщательномъ выясненіи себѣ этого выраженія, мы увидѣли, что оно, будучи примѣнено, въ частности, къ развитию личности *этическому*, получаетъ еще болѣе широкій смыслъ, объясняя какъ нельзя лучше *и самый фактъ:* извѣстный поворотъ въ литературной дѣятельности назван-

ныхъ писателей, его причины и послѣдствія: печальную гибель могучаго таланта. Повторяясь уже не разъ, такой плачевный исходъ лучшихъ талантовъ на Руси,—явленіе, можетъ быть, всегда готовое оказаться на лицо, поддерживаемое нашимъ добровольною слѣпотою на тѣ отношенія, какія существуютъ или должны существовать между художникомъ и его собственнымъ талантомъ. Поставить одинъ правильный діагнозъ въ данномъ случаѣ—есть уже нѣкоторое *предостереженіе* молодой талантливости настоящаго и будущаго. Не странно ли, въ самомъ дѣлѣ, не должно ли приковать къ себѣ всего вниманія будущаго историка нашей литературы то, напр., обстоятельство, что такая высокая и продуктивная творческая дѣятельность, какъ художественная дѣятельность Гоголя или,—еще ближе, гр. Толстого, дѣятельность единогласно отмѣченная общимъ признаніемъ ея высокихъ достоинствъ,—могла, въ конечномъ своемъ резултатѣ, свестись къ отрицанію себя самой, къ признанію ея «пустяшности» и «баловства» («романцы и повѣстушки»), какъ презрительно провозглашаетъ ее «Исповѣдь»)? Какимъ образомъ оказалось возможнымъ это *solution de continuité*, это искусственно разъединеніе, такой насильственный актъ разрыва двухъ неразлучныхъ частей одного цѣлага (истинно-художественного творчества), изъ которыхъ одна часть—художественные образы, а другая—ихъ дѣйствіе на нашу душу, ихъ воспитательное дѣйствіе, «учительство»?

Какимъ же образомъ это «учительство», этотъ невидимо соприсутствующій художественному произведенію и его опредѣляющей коэфіціентъ, насильственно отъ него отрываясь, произвольно переносится самимъ художникомъ съ своихъ произведеній (самыхъ въ себѣ свою мораль несущихъ) на ту *субъективную*, личную его дѣятельность, гдѣ

«художникъ» исчезаетъ, а на мѣсто его появляется этически совершенствующій себя самъ авторъ, который, продолжая, какъ бы по инерціи, разъ начатую дѣятельность «писателя», — пишетъ и проповѣдуетъ уже въ духѣ исключительно тѣхъ идеаловъ, съ которыми связано дѣло его собственнаго «я», его личнаго развитія? Откуда эта, если вѣрить діалогу Громеки съ гр. Толстымъ (Левинымъ) — «ненависть» къ своимъ «одинадцати томамъ»? какимъ образомъ то, что зажигало ваши сердца, вызывало общія одобренія, могло вдругъ оказаться простымъ *баловствомъ?* Слово это, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ будто и васъ сконфузило: какъ же такъ, думаете вы, любимый вашъ авторъ имѣлъ такое громадное вліяніе на васъ своими художественными образами, вы такъ привыкли ставить его личность, въ вашихъ глазахъ, на недосягаемую нравственную высоту именно какъ *учителя*, — и, вдругъ, оказывается, что это онъ — такъ... «баловался», забавлялся отъ нечего дѣлать, а учить онъ начнетъ лишь теперь, съ XII-го своего тома?..

И откуда, опять таки спрашиваемъ мы, это непонятное стремленіе самихъ авторовъ — подорвать съ одной стороны, значеніе своихъ же собственныхъ художественныхъ произведеній, а съ другой — возвести на неподобающую высоту значеніе той ихъ субъективной дѣятельности, гдѣ на первый планъ высовывается ихъ «я», бюллетень о его моральномъ здоровьѣ и безконечная описанія про *домо* suo своихъ опыта, удачъ и неудачъ въ этомъ направлениѣ? Иначе сказать, — откуда это *смѣшеніе* своей субъективной дѣятельности съ объективной, *этической съ эстетической*, смѣшеніе, благодаря которому мы, сами того незамѣчая, незамѣтно перескакиваемъ изъ одной области въ другую, — смѣшеніе, благодаря которому, напримѣръ, Гоголь, въ отвѣтъ тѣмъ, которые попрекали его, зачѣмъ онъ, оставивъ поприще, гдѣ

былъ господиномъ, принялъ за другое, ему чуждое, зачѣмъ онъ «выставилъ свою внутреннюю клѣть» — могъ такъ увѣренno и гордо отвѣтить, что онъ «все таки *писатель*, а не монахъ»?...

І.

Послѣдній трудъ Кавелина («Задачи этики») вызвалъ въ печати не мало возраженій, но наиболѣе существенными изъ нихъ были тѣ, которыя дѣлались ему уже послѣ смерти его, ставя въ недостатокъ его системѣ то слишкомъ превалирующее значеніе, которое получила у него субъективная сторона нравственной дѣятельности человѣка,—его желаніе или попытку замкнуть нравственную жизнь лица въ узкія рамки личной морали, поставить главною цѣлью индивидууму его внутреннее совершенствованіе, исключивъ для этого или значительно, по возможности, умаливъ его внѣшнюю, объективную (общественную) дѣятельность, обязанность его преслѣдовать какой либо объективный идеалъ въ своей жизни, обязанность, считаемую будто бы Кавелинымъ даже совершенно постороннюю нравственному чувству, такъ какъ, по его мнѣнію, нравственная-де жизнь возможна и безъ проявленія въ объективной (общественной) дѣятельности.

Не говоря уже про то, что Кавелинъ вездѣ настаиваетъ на томъ, что нравственные идеалы должны сдѣлаться «душевными движеніями», душевнымъ настроениемъ, а не быть только руководящими принципами жизни, «фарисействомъ и личиной, поддѣлкой подъ это настроеніе», — что считая, напримѣръ, этическую любовь идеаломъ отношеній человѣка къ другимъ людямъ, онъ говорить про нее, что «любовь эта идеальна, но не даетъ человѣку *оторваться отъ действительности*, искать успокоенія и утѣшенія отъ ея тревол-

неній и докуєть въ мірѣ отвлеченныхъ ідей, къ чему мы всѣ такъ склонны;» неговоря, наконецъ, про то, что онъ прямо говорить въ другомъ мѣстѣ о связи, какая существуетъ между субъективною и объективною дѣятельностью человѣка, что личная жизнь сама по себѣ несовершена, что безъ объективной дѣятельности человѣкъ осужденъ на бессиліе и бесплодное созерцаніе», что верхомъ человѣческой мудрости будетъ именно «приведеніе къ единству идеаловъ субъективныхъ и объективныхъ» и осуществленіе его въ дѣйствительной жизни... Не говоря про все это, допустимъ, все таки, на время, что доминирующими впечатлѣніемъ отъ труда Кавелина, недостаткомъ его является, дѣйствительно, разграничение субъективной и объективной дѣятельности индивидуума.

И за всѣмъ тѣмъ, все таки, трудъ этотъ, въ нашихъ глазахъ, сохраняетъ за собою все свое значеніе. Какимъ образомъ? Очень просто: вспомните *кому* посвящасть его авторъ—и онъ сразу получитъ въ глазахъ вашихъ истинную свою цѣну:—значеніе труда преимущественно педагогического; система нравственныхъ его понятій—значеніе этической педагогіи, а не системы, годной одинаково для всѣхъ—какъ для того, кто только подготавляется къ дѣятельности объективной (общественной), такъ и для того, кто уже является сознательнымъ въ ней работникомъ. Измѣняя точку зрењія для оцѣнки, мы тѣмъ самымъ измѣняемъ и прежнюю квалификацію свою достоинствъ и недостатковъ этого труда; мы просто, говоря словами думской рѣчи гр. Толстого, «по дурацки, по мужицки» произвольно переставляемся съ премудрой глубины учености этого труда къ его *предисловію*, къ его посвященію, дѣлаемъ ихъ отправнымъ пунктомъ и исходя изъ нихъ, изъ духа *ихъ*, а не самого труда, утверждаемъ: система Кавелина не ста-

вить личности исключительно и вышею цѣлью внутреннее самосовершенствование, при которомъ бы объективная дѣятельность не имѣла мѣста или не считалась бы обязательной; она просто предлагается *молодежи*—этой внутреннюю субъективную работу заканчивать по возможности *до выступленія на арену объективной дѣятельности*. Дальнѣйшій ходъ нашихъ мыслей, такимъ образомъ, будетъ уже самъ собою логически вытекать изъ этого требованія, чтобы субъективная внутренняя работа *предваряла* всегда дѣятельность объективную, **этическую—эстетическую**: разъ эта предварительная подготовка закончена, индивидуумъ уже не встрѣтить помѣхъ субъективного свойства въ своей дальнѣйшей (объективной) дѣятельности, и на оборотъ: «захваченный» потребностью этой внутренней работы въ зрѣломъ уже возрастѣ, въ пору разсвѣта своей объективной или эстетической дѣятельности—онъ, поглощенный этой внутреннюю работой, естественно, поставить задачи ся выше въ своихъ глазахъ сравнительно съ своими прежними, хотя бы и широкими, внѣшними цѣлями, не будь уже имѣть ни времени, ни особаго интереса выдвигать ихъ на первый планъ; если же и будетъ еще продолжать дѣлать это, то какъ бы по инерціи лишь, при чемъ,—что особенно любопытно въ этомъ случаѣ, будь постоянно смѣшивать двѣ различные области своей дѣятельности—субъективную и объективную, перенося приемы, воззрѣнія и задачи съ одной—на другую

Но добровольно самоизолированіе общественного дѣятеля, въ зрѣломъ возрастѣ, отъ жизни и окружающихъ «съ нравственными цѣлями»,—въ наше время уже не встрѣчаетъ сочувственной себѣ поддержки! Такое исключительное воззрѣніе на *этическую* жизнь могло еще имѣть мѣсто въ древности, у мистиковъ и анахоретовъ, или древней Греціи, гдѣ инди-

видуумъ удалялся отъ участія въ дѣлахъ жизни, покидалъ государственную жизнь, чтобы къ ней болѣе уже не возвращаться, имѣя уже иную цѣль—дѣйствовать въ внутреннемъ мірѣ своей души, дабы выработать изъ себя образецъ добродѣтели. Такая внутренняя дѣятельность была для него и задачей и удовлетвореніемъ; общественная жизнь сама по себѣ теряла для него всякое значеніе, и соприкосновеніе съ нею, если еще и было нужно ему, то лишь въ образовательномъ отношеніи. Одиночное самодовольство—вотъ узкая цѣль и блаженство такого индивидуума

Невозможно, говоря вообще, представить себѣ человѣка живущаго нравственною жизнью—и въ то же время уединенного отъ всѣхъ реальныхъ отношеній, отъ людей и ихъ интересовъ. Кто считаетъ это возможнымъ, тотъ просто, на мѣсто истинныхъ требованій этики, ставить свои личные задачи блаженства одиночаго самодовольства.

III.

Сказанное по отношенію къ объективной дѣятельности индивидуума вообще, должно оказаться справедливымъ, въ частности, и въ примѣненіи къ дѣятельности, выражющейся въ воспроизведеніи предъ нами, въ художественной формѣ, жизни во всемъ ея многообразіи—къ художественному творчеству и таланту; требованія этической подготовки, которыя мы нашли справедливыми и необходимыми по отношенію къ дѣятельности объективной, общественной, которую эта подготовка должна предварять, будутъ вполнѣ справедливыми и по отношенію къ дѣятельности художественной.

Въ своей же предварительной этической подготовкѣ индивидуумъ прежде всего паталкивается на то положеніе этики, которымъ она учитъ, что для каждого человѣка есть *призваніе* и разъ оно найдено—выбрать его этически. Этимъ она уже

указываетъ на существующую связь, какая существуетъ между субъективною и объективною его дѣятельностью, на то, что необходимъ, логическимъ послѣдствіемъ этой вашей внутренней этической подготовки является столь же необходимая дѣятельность ваша объективная, дѣятельность непремѣнно полезная, въ формѣ осуществленія тѣхъ выбранныхъ вами этически и потому *обязывающихъ* задачъ, которыя вы себѣ сознательно поставите.

Примѣняя сказанное къ художественному таланту, мы увидимъ, что этическій характеръ проявленія его во внѣ получаются тоже лишь тогда, когда талантъ этотъ разсматривается самимъ художникомъ какъ призваніе, въ томъ смыслѣ, какой придастъ ему этика и обязывающій элементъ котораго и здѣсь на первомъ планѣ. Въ этомъ смыслѣ, самый колоссальный талантъ только тогда и можетъ выполнять этическое свое назначеніе, когда разсматривается, прежде всего, какъ долгъ, какъ общественное сознательное служеніе. Таково воззрѣніе этическое. Воззрѣніе на талантъ противуположное будетъ воззрѣніемъ исключительно эстетическому, у котораго на первомъ планѣ начало личаго удовольствія, личной пользы и эгоистического наслажденія процессомъ *непосредственнаго* творчества, исключающаго всякия другія цѣли, какъ ему чуждыя, посторонія.

Художественный талантъ и его проявленія во внѣ—тоже «общественное служеніе», и такъ же, если не болѣе, отвѣтственны за свое вліяніе.

Разъ мы согласились признавать на насть это вліяніе, мы должны неизбѣжно признать, вмѣстѣ съ тѣмъ, и эту отвѣтственность, и она тѣмъ значительнѣе будетъ, чѣмъ сильнѣе, могучѣе дѣйствіе отраженной отъ художника на насть духовной силы. Если въ мірѣ физическомъ существуетъ законъ, —такъ называемый «законъ сохраненія силъ,» благо-

даря которому не можетъ пропасть, исчезнуть безслѣдно выразившееся дѣйствіе матеръяльной силы, то то же самое, въ равной степени, мы можемъ сказать и о дѣйствіи силъ въ мірѣ духовномъ,—и ничѣмъ инымъ, какъ этимъ закономъ, мы можемъ объяснить себѣ тотъ, напримѣръ, восторгъ, тотъ энтузіазмъ, который вызываетъ въ насъ истинный талантъ, истинный геній, будеть ли то пѣвецъ, музыкантъ, художникъ, ораторъ, ученый,—тѣ выраженные или невыраженные ему знаки одобренія, которыхъ мы всѣ, вся аудиторія, весь залъ, театръ или площадь, какъ одинъ человѣкъ, одинаково настроенный, иногда со слезами на глазахъ, не можемъ не выразить какъ знакъ невольной глубокой признательности вызвавшему въ насъ это психическое дѣйствіе генію или таланту: сила нематеръяльного міра, вышедшая отъ нихъ—не исчезла, не пропала безслѣдно, но сообщилась, въ силу указанного закона, каждому изъ насъ, вызвавъ и заставивъ пережить и насъ то, что переживалось одновременно и въ источникеъ ея,—въ самомъ авторѣ, въ самомъ художникѣ...

Но мы скажемъ болѣе: крупному дарованію, крупному художественному таланту, болѣе чѣмъ кому другому, грозить отвѣтственность предъ обществомъ за свою дѣятельность: аудиторія его значительнѣе, чѣмъ у кого либо другаго, вліяніе его на слушателей полнѣе, быстрѣе и, такъ сказать, непосредственнѣе, ибо, здѣсь, вліянію этому проложенъ самый вѣрный и самый краткій путь—чрезъ *воображеніе* читателя!... Въ самомъ дѣлѣ что такое талантъ *самъ по себѣ*, талантъ *ап und fürsich?* Отымете у него его сознательную, его этическую природу, или, что одно и тоже,—его *обязывающую силу*, его долгъ—повсюду усматривать *задачи*, а неодно самоуслажденіе, отымете у него его этическій характеръ «призванія»—и вы получите слѣпую, почти стихійную силу, въ природѣ которой, какъ вѣрно выразился

гдѣ-то Достоевскій, легче отыскать ея обладаніе авторомъ, чѣмъ обратное; сила эта, не отдавая ни себѣ, ни автору отчета (педаромъ же она—«сила»), неожиданно охватываетъ всѣмъ существомъ человѣка,—вдругъ, какъ говорится, «осѣдаетъ» его,—и тогда самый вопросъ, талантъ ли обладаетъ человѣкомъ, или человѣкъ талантомъ, долженъ быть решенъ одинаково и безразлично для всѣхъ, будеть ли то талантъ гениального художника, артиста, ученаго, оратора или, просто-на-просто, талантъ того Гоголевскаго враля («талантъ вранья»), который начавъ о чёмъ то рассказывать—«можеть быть, и сказалъ бы правду, но *сами собою* представились такія подробности въ разсказѣ, что уже никакъ пельзя было удержаться и сказать правду»...

Что же собственно ставимъ мы въ заслугу *таланту*, разъ мы увидѣли въ немъ, вскрывъ его сущность,—*даръ*, т. е. нечто не приобрѣтенное личными сознательными усилиями? Высшаго выраженія для своего таланта, кроме того, что онъ есть талантъ, обладатель его не имѣть. «Génie oblige» (гений обязываетъ) говорилъ Листъ,—то же должно сказать и про талантъ: талантъ *обязываетъ*, талантъ есть призваніе, выбранное этически: отымите у него это значеніе,—и онъ дѣлается центромъ для самаго себя, деспотомъ, которому все должно служить для его успѣха въ его бурномъ стремленіи впередъ. Употребляя метафору героя одного изъ произведений покойнаго Гаршина, можно сказать, что талантъ, въ этомъ смыслѣ, есть какъ бы локомотивъ съ открытою паропроводною трубою, которому остается одно изъ двухъ: или катиться по прямому, узкому не имѣ устроенному желѣзному пути и докатиться до станціи (храма славы), или сорвавшись съ него, превратиться изъ стройнаго чудовища въ жалкую груду обломковъ; а такъ какъ, съ другой стороны, и другіе «таланты» добиваются той же участіи, т. е. дока-

титься до «храма славы», то и выходитъ, разумѣется, что арена «высшей умственной и эстетической дѣятельности» человѣчества—увы! превращается въ такую же арену *«bellum omnium contra omnes»*, какъ и *ici—bas*, въ низшей сферѣ человѣческихъ интересовъ, какъ и во всемъ животномъ мірѣ и такъ же говорять какъ бы другъ другу по внушению дарвинова закона и тамъ и здѣсь: *«t' te toi de là pour que je t'y mette!...»* Печальная, но хорошо знакомая и старая, къ несчастью, картина! .. А мы, смотря на нее сестороны, не только не замѣчаемъ диссонанса, но даже стараемся и хлопочемъ придать ей лучшее освѣщеніе!

Всѣмъ намъ памятна та страшная, почти невѣроятная, на первый взглядъ, картина, которую нарисовалъ гр. Толстой въ своей «исповѣди», выставивъ публично на видъ то обстоятельство, что, очутившись, по прїездѣ въ Петербургъ, въ писательскомъ кругу и усвоивая себѣ «писательскіе взгляды», въ немъ совершенно изгладились всѣ его прежнія попытки «сдѣлаться лучше», что вообще, не этому стремленію своему онъ встрѣтилъ здѣсь поддержку, а своей нравственной «распущенности». «Взгляды эти, говорить онъ, подъ распущеность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала. Теорія утверждала, что жизнь вообще идетъ развиваясь, и что въ этомъ развитіи главное участіе принимаемъ мы, люди мысли,—а изъ людей мысли главное вліяніе имѣемъ мы—художники, поэты. Наше призваніе—учить людей, не зная чemu: художникъ, де, и поэтъ учать безсознательно...»

На второй уже годъ гр. Толстой сталъ однако сомнѣваться въ непогрѣшимости этой вѣры и первымъ поводомъ къ сомнѣнію было то, что «жрецы этой вѣры не всѣ были согласны между собою: они спорили, ссорились, бралились, обманывали, плутовали другъ противъ друга, много было между ними и незаботящихся о томъ, кто правъ, кто неправъ,

а просто достигавшихъ своихъ корыстныхъ цѣлей съ по-
мощью писательской дѣятельности»... Усомнившись же, онъ
сталъ наблюдать внимательнѣе жрецовъ этой вѣры и убѣ-
дился, что «почти всѣ они, эти писатели, были люди без-
нравственные и въ большинствѣ—люди плохіе, ничтожные
по характерамъ, много ниже тѣхъ, которыхъ я встрѣчалъ въ
моей прежней разгульной жизни, но самоувѣренные и до-
вольные собою»...

Гр. Толстой, очевидно, разумѣеть здѣсь конецъ 50-хъ,
начало 60-хъ и самые 60-е годы,—время, ознаменованное
въ исторіи нашихъ литературныхъ движеній особою полосою—
такъ называемымъ анти-эстетическимъ движеніемъ, начатымъ
съ легкой руки автора дисертаціи «эстетич. отношенія ис-
кусства къ дѣйствительности», надѣлавшой въ свое время
столько шума, и законченнымъ лишь въ 70-хъ годахъ, хотя
эхо его еще долго продолжало перекатываться и послѣ, по-
степенно замирая и окончательно замолкнувъ, кажется, лишь
къ открытію памятника Пушкину въ Москвѣ.

Кто-то вѣрно еще тогда, въ то бурное время, замѣтилъ,
что у насъ образовался новый литературный родъ — «ругна»,
въ которомъ нашли себѣ мѣста самые отборные образцы
«полемическихъ красотъ», до которыхъ только доходила тог-
дашняя передовая журналистка. *)

По странной, однако, случайности, въ арсеналѣ доводовъ
у тогдашнихъ отрицателей искусства, въ ихъ походѣ противъ
«красоты», нашлось одно вѣсское орудіе, противъ которого
защитники противуположного лагеря ничего не могли выста-
вить, и такъ какъ оно было направлено именно противъ
самаго слабаго ихъ мѣста, хуже всѣхъ укрѣпленаго, то

*) По выражению одного письма Тургенева, относящагося къ этому вре-
мени, желавшій стать во главѣ движенія прогрессистъ, чтобы разсчитывать на
усиѣхъ у молодежи, долженъ быть обладать хлесткимъ и забористымъ слогомъ,
умѣть «плеваться», «бить по мордѣ» и т. под.

защитники эстетической красоты, вмѣсто того, чтобы честно отступить въ *одномъ* пункѣ, начинали пользоваться, для защиты другихъ своихъ позицій, оружиемъ своего же врага, тщетно пытаясь создать на его же обломкахъ слабую теорію для оправданія факта, предъ которымъ имъ, собственно говоря, слѣдовало бы, оставаясь искренними,—развести лишь руками.. Этимъ слабымъ мѣстомъ у защитниковъ искусства и его служителей было неумѣніе, невозможность примирить такихъ противорѣчій въ брошенномъ имъ *оттуда* фактѣ, какъ совмѣстность, съ которою могло уживаться въ нѣкоторыхъ геніальныхъ людяхъ, поэтахъ и художникахъ (приводились имена), бокъ-о-бокъ эстетическое величіе таланта ихъ съ одной стороны и нравственная распущенность съ другой. Что же дѣлали защитники эстетики? Если бы мы захотѣли подробнѣе заняться разборомъ ихъ *cheval de bataille*, то увидѣли бы, что она, въ сущности, была жалчайшею изъ Россинантъ; но мы не будемъ заниматься этимъ подробнымъ разборомъ; приведемъ только одинъ примѣръ. Когда, кажется, Писаревъ заявилъ что-то въ родѣ того, что онъ «ни за какого художника не поручится, чтобы онъ не укралъ изъ кармана платка», что Гейне былъ развратникъ, Гофманъ—пьяница и т. д. и т. д.,—*оттуда* на это отвѣчали, что де и за «публициста» то же неручаются въ этомъ отношеніи, что, напр. и Бэконъ былъ «подлецъ» и т. п. Теорія же, которую они хотѣли создать для оправданія и защиты эстетической красоты была въ родѣ той, что нравственное чувство и есть ничто иное, какъ чувство эстетическое, что, напр., человѣкъ, находящій случайно деньги и отдающій ихъ по принадлежности, поступаетъ такъ, руководясь лишь эстетически,—«красотою» человѣческой природы... А такъ какъ, съ другой стороны, это эстетическое чувство они опредѣляли какъ чувство сенсуальное, выводя его, вмѣстѣ съ

послѣднимъ, изъ одного и того же источника въ мозгу человѣка, то разумѣется, что и фактъ этической «распущенности» наряду съ эстетическимъ величиемъ получалъ у нихъ свое объясненіе, далеко, однако, наскъ не удовлетворяюще: поэтъ, де, становился (дѣлясь развратникомъ) жертвою своего исключительного служенія красотѣ, что благодаря именно этой связи сенсуального наслажденія съ чувствомъ вдохновенія, они, поэты и художники, и склоны такъ къ первому, обжигаясь на этомъ огнѣ... Но если таковы основы всего эстетического, если послѣднее само по себѣ—то-же, что непосредственно — чувственное, сенсуальное, если оно даже можетъ быть объяснено чисто физиологическѣ, то оно же не можетъ уже быть въ тоже время чувствомъ нравственнымъ, такъ какъ «этическое» въ непосредственномъ не дается, а къ нему приводятъ себя черезъ сознаніе, оно есть продуктъ воли индивидуума, а не непосредственного физиологического чувства.

Подтверждаемъ, однако, еще разъ всю случайность «разоблаченій», дѣлавшихся нашими отрицателями въ 60-хъ годахъ: вѣдь, они явились у нихъ лишь между прочимъ, въ числѣ другихъ имѣвшихся у нихъ аргументовъ для ихъ анти-эстетическихъ цѣлей. Другое дѣло—если бы они это дѣлали съ цѣлью напомнить художественному таланту о тѣхъ свойствахъ этической подготовки, недостатокъ которыхъ былъ ими такъ злорадно лишь отмѣченъ, какъ голый фактъ, какъ лишний камень, которымъ можно было бросить въ лицо врагу. Но известно, вѣдь, каковы цѣли были у нашихъ «передовыхъ людей» той эпохи, когда, съ одной стороны, Щедрина, напр., приглашали; бросивъ «беллетристику», заняться изученіемъ естественныхъ наукъ, а съ другой, ученаго человѣка, вдругъ, производили въ «романисты», у котораго, въ романахъ его, умъ принимался разыгрывать роль чувства (романъ

«Что дѣлать»?) или, вдругъ, выдвигали такого «собственного эстетика», котораго роль, въ концѣ концовъ, кажется, сводилась къ тому только, чтобы фабриковать, *на зло*, въ своихъ произведеніяхъ самыя «анти-эстетическія» выраженія (въродѣ «сипондрація», «отчехвостить, сбондить, стилибопитъ» и т. п.) Все это мы приводимъ лишь въ качествѣ иллюстраціи къ вышеупомянутымъ строкамъ изъ «Исповѣди» гр. Толстого, который, далѣе, особенно подчеркиваетъ то обстоятельство, что онъ призванъ былъ *«учить самъ не зная чemu»*, отзываясь при этомъ съ особенностью ироніею о господствующихъ «писательскихъ взглядахъ», по которымъ художникъ-де и поэтъ *учатъ безсознательно...* «Я считался чудеснымъ художникомъ и поэтомъ, и потому, мнѣ очень естественно было усвоить себѣ эту теорію. И вотъ я, художникъ, поэтъ, писаль и училъ, самъ не зная чemu. Мнѣ за это платили деньги, у меня былъ прекрасный столъ, квартира, женщины, общество; у меня была слава: значить, то, чemu я училъ, было очень хорошо...»

Въ самомъ дѣлѣ, много было говорено про это «бессознательное» учительство, про то, какимъ образомъ художникъ «является — *все равно* — сознательно или бессознательно, — *учителемъ* для современниковъ и потомства,» но никогда, кажется, при этомъ, не обращалось достаточно вниманія на то противорѣчіе, которое заключено въ самомъ выраженіи двухъ этихъ понятій (чего-то въродѣ *contradictio in adjecto*), — на то, можно-ли, съ легкостью «почти военного человѣка» связывать во едино понятія учительства съ понятіемъ бессознательного: или я дѣйствительно учу — и тогда я *знако*, чemu я учу, или я, безъ всякаго участія сознанія, просто говорю слова на вѣтеръ или изрекаю какіе то вѣщіе глаголы, на манеръ древней пиѳіи, но тогда, во 1-хъ, предварительно должно отуманить мое сознаніе тѣми же средствами и наз-

вать меня оракуломъ, кудесникомъ, прорицателемъ будущаго, гадалкой, ворожеей .. чѣмъ угодно, только не «учителемъ», а во вторыхъ, съ меня, уже въ силу этого самого, снимаютъ всякую отвѣтственность за дѣйствіе и дальнѣйшія по-слѣдствія моихъ словъ, которыхъ я произношу въ этомъ «безсознательномъ», невмѣнляемомъ состояніи. Но понятіе «безотвѣтственности» и понятіе «учительства», согласитесь сами, таѣ́-же не соединимы другъ съ другомъ, какъ и понятіе «учительства» съ «безсознательностью» его.

Но еще болѣе страннымъ должно, при этомъ, показаться, какимъ образомъ, полагая возможнымъ безсознательное учительство художника, считаютъ въ тоже время необходимымъ дѣлать эту мысль предметомъ пространныхъ писаній, зная отлично, что самъ-то «безсознательный учитель» тоже, разумѣется, прочтеть и, если онъ—чуткая къ нравственности вопросамъ натура, то призадумается, конечно, какъ это его безсознательному баловству приписываютъ характеръ «учительства».. И тогда—одно изъ двухъ: или мы хотимъ сохранить его дарованіе, «непосредственность» его творчества—будемъ говорить ему сколько угодно о его дарованіяхъ, его образахъ и т. п., только не станемъ говорить ему о томъ, что онъ *учитель*, дабы не могла до ушей его дойти комичная истина, что онъ, какъ докторъ у Мольера, оказался въ роли «учителя mal gré lui; или же, если мы хоть сколько нибудь цѣнимъ въ немъ еще что либо, кромѣ его «дара случайного»,—его таланта, если мы видимъ за нимъ еще *человѣка*,—то постараемся лучше, вмѣсто того, чтобы восхвалять безсознательность его творчества,—выяснить ему,—да не ему одному, а черезъ него и всѣмъ, въ принципѣ—какъ это мы дѣлаемъ на другихъ «эстетическихъ» вопросахъ художественного творчества—вопросъ объ обязывающей, этической природѣ его художественного таланта. Иначе «без-

сознательный» художникъ нашъ ничѣмъ не будетъ застрахованъ отъ всевозможнаго рода случайностей на пути своего развитія,—своего приближенія къ «храму славы», а изъ нихъ, этихъ случайностей, главною, наиболѣе гибельною и чаще всѣхъ встрѣчающеюся въ такъ наз. «непосредственныхъ» творцахъ, будетъ—извѣстный процессъ привхожденія въ актъ творчества духа рефлексіи, т. е. стремленія постоянно отвлекаться отъ непосредственнаго творчества для постороннихъ, чуждыхъ этому творчеству вопросовъ, вызванныхъ этически развивающеюся натурою самого художника; конечнымъ же результатомъ этого стремленія явится неизбѣжный внутренній разладъ, который, убивъ, съ одной стороны, творчество непосредственное и не давъ, съ другой, сознательного, неминуемо лишаетъ пасъ въ писателъ художника...

III.

Лучшій примѣръ подобнаго критического положенія таланта и лучшее же объясненіе его далъ намъ Гоголь. Въ талантъ его указанныя качества непосредственности, «безсознательности» и безотчетности настолько были развиты, что Бѣлинскій сравнилъ его даже съ животнымъ: «страшно подумать, пишетъ онъ къ одному своему пріятелю, о Гоголѣ,—вѣдь во всемъ, что онъ написалъ—одна натура,—какъ въ животномъ... Самъ же Гоголь лучше всѣхъ объяснилъ, какимъ образомъ произошелъ въ немъ извѣстный переворотъ, заставившій его покинуть поприще, которое онъ уже утвердивъ за собою, гдѣ былъ почти господинъ, и взяться за другое, ему чуждое: «Если бы, говорить онъ въ своей «Исповѣди автора», и съ Карамзинымъ случилась эта внутренняя исторія во время его писательства, онъ бы ее также выразилъ. Но Карамзинъ воспитался въ юношествѣ. Онъ

образовался уже какъ человѣкъ и гражданинъ *прежде*, чѣмъ выступилъ на поприще писателя. Со мною случилось иначе...» (801 стр.).

Гоголь говорить затѣмъ о скучности своего школьнаго образованія и недостаткѣ законченного нравственнаго воспитанія, заставившихъ его спохватиться объ этомъ лишь въ зрѣломъ возрастѣ. И вотъ, безъ всякой подготовки, не зная даже, что тому, чѣмъ онъ обладалъ въ качествѣ «дара» совершенно случайнаго, присвоено даже особое наименование «художественнаго таланта», ни о значеніи и силѣ его,—онъ выступаетъ на литературное поприще—начинаетъ «рисовать» и «забавляться»... «Чтобы развлекать себя самого, говорить онъ, я придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ смѣшныя лица и характеры, поставляя ихъ въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза...» Гоголь удивился не мало, когда узналъ, *какой смыслъ имѣютъ* его невинныя шалости пера, —онъ, вѣдь, и не думалъ писать что либо въ родѣ «сатиры», и, вдругъ,—оказывается «дѣйствіе, смыслъ»... Гоголь еще не зналъ свойствъ смѣха и его значенія, какъ орудія, и потому, естественно, испугался и растерялся, когда отъ него потребовали «оправдательныхъ документовъ» его смѣха. На него произвело сильное впечатлѣніе то обстоятельство, что ему говорили, будто онъ «смѣется не только надъ недостаткомъ, но даже цѣликомъ и надъ самимъ человѣкомъ, въ которомъ заключенъ этотъ недостатокъ», онъ никакъ не могъ примирить себѣ этихъ противорѣчій, которыхъ наставило ему его же собственное «бесознательное» творчество... Выступи онъ на свое поприще «законченнымъ гражданиномъ земли своей» (какъ онъ называетъ Карамзина), этихъ противорѣчій не встрѣтилось бы, а требование

«оправдательныхъ документовъ» его смѣху не испугало бы его, потому что относящейся сознательно и этически къ своей дѣятельности писатель-сатирикъ на это требование можетъ лишь отвѣтить такъ: «Я ни кого не бью по щекамъ, моя рѣзкость имѣть въ виду не личности, а извѣстную совокупность явленій, въ которой и сидитъ источникъ данного зла, угнетающаго человѣчество. Читатель, очевидно, понимаетъ это, и, вслѣдствіе этого, мирится со мною даже тогда, когда я, повидимому, обличаю его самого. Онъ инстинктивно чувствуетъ, что я совсѣмъ не обличитель, а адвокать, что я вижу въ немъ жертву общественнаго темперамента, необходимую мнѣ совсѣмъ не для потасовки, а только въ качествѣ иллюстраціи этого послѣдняго» (Щедринъ, «Круглый годъ», стр. 122). *)

Узнавъ поздно силу и значеніе смѣха, Гоголь, естественно, пришелъ къ сознанію необходимости уяснить себѣ самый актъ своего непосредственнаго творчества, бывшаго до того времени безсознательнымъ, слѣпымъ, почти стихийнымъ... Такъ приносить пользу онъ уже не хочетъ, ибо узналъ уже откуда-то, что «писатель творить свое творение *въ поученіе* людей», что именно «такъ опредѣляютъ писателей и поэтовъ эстетики какъ нынѣшняго времени, такъ и прежнихъ временъ (814); для того же, чтобы приносить эту пользу «сознательно», онъ чувствуетъ ясно, какъ мало сдѣлать еще для себя самого, для своего этическаго развитія, подступивъ къ которому онъ неизбѣжно наталкивался на все жившее въ немъ «*въ непосредственномъ*», а

*) Не можемъ, кстати, не указать при этой ссылкѣ на то, какъ приведенными словами хорошо оттѣняется различие субъективной и объективной дѣятельности писателя съ одной стороны, а съ другой,—какъ они, въ то же время, служатъ какъ бы освѣщеніемъ Толстовскому «непротивленію злу», понимаемому въ его субъективномъ (въ частной жизни) и объективномъ (въ общественной дѣятельности) смыслѣ.

въ числѣ этого—и на самый талантъ свой, который и оказался въ его глазахъ чѣмъ-то «грѣховнымъ», не соотвѣтствующимъ его теперешнимъ высокимъ цѣлямъ внутренняго самосовершенствованія, въ которомъ на первомъ планѣ—*душа* человѣка, ея изученіе... И вотъ, Гоголь начинаетъ изучать эту душу, и пресерьезно посвящаетъ всѣхъ въ свои открытия, и начинаетъ уже проповѣднически видѣть красоту этой души даже тамъ, где нѣтъ и признаковъ не только красоты, но и самой души: появляются «божественные помощники», «божественные откупщики», «выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями»...

Страннымъ здѣсь можетъ показаться лишь одно, если имѣть въ виду при этомъ дѣйствительныя свойства такого именно рода таланта, какимъ обладалъ Гоголь и который обѣщалъ въ немъ будущаго геніального сатирика: этотъ послѣдній, обыкновенно, какъ мы увѣрены, тѣмъ способнѣе становится къ проявленію присущихъ ему свойствъ смѣха, какъ орудія, чѣмъ самъ болѣе успѣваетъ приблизиться къ намѣченному идеалу личнаго развитія, и самая сатира, въ этомъ смыслѣ, есть ничто иное, въ нашихъ глазахъ, какъ выраженный субъективный протестъ нравственного чувства противъ замѣченного несоотвѣтствія между требованіями нравственного, нормального идеала и конкретнымъ случаемъ отступленія отъ него. Какимъ же образомъ, спрашивается, вышло съ Гоголемъ обратное, т. е. что у него, по мѣрѣ его собственного поступательного движенія, этическаго развитія, отрицательная сторона его таланта не только не выигрывала, но даже, въ концѣ концовъ, уступала мѣсто лживой идеализаціи явленій, именно требовавшихъ отращательнаго къ себѣ отношенія сатирика? Объясненія этому мы должны искать все въ той же «запоздалости» этого развитія. Чтобы получить опять способность творить такъ, какъ

творилъ Гоголь прежде, для этого къ нему должны были вернуться получившими (пройдя сквозь горнило сознанія) высшее освѣщеніе—и тѣ свойства таланта его, та «веселость» его, которыя составляютъ, вообще, такъ сказать, физический субстратъ всякаго таланта; но подобное благотворное дѣйствіе кризиса можно ожидать лишь въ юности человѣка, весною его жизни, когда именно душевныя грезы и даютъ только толчекъ развертывающимся силамъ индивидуума; подъ осень же его жизни, тѣ же грезы могутъ лишь надорвать старческій организмъ, не влѣся въ него никакого обновленія.

«Нѣсколько разъ, пишетъ самъ Гоголь, упрекаемый въ недѣятельности, я принимался за перо, хотѣль насильно заставить себя написать хоть что нибудь, въ родѣ небольшой повѣсти, и не могъ произвести ничего... Что миѣ было дѣлать? Виноватъ я развѣ былъ въ томъ, что не въ силахъ былъ повторять то же, что говорилъ или писалъ въ мои юношескіе годы? Какъ будто двѣ весны въ возрастѣ человѣческомъ!...»

Да, именно—одна лишь весна! Гоголь самъ это хорошо понималъ, и никто, можетъ быть, болѣе его самого, не оплакивалъ безвременную кончину его таланта, обѣщавшаго еще такъ много сдѣлать: это видно уже изъ той грусти, какою вѣеть отъ тѣхъ строкъ его «Исповѣди», гдѣ одѣ жалуется на невозможность, неспособность писать по прежнему (не непосредственно), «какъ писалось въ молодости, т. е. какъ попало, куда ни поведетъ перо...» «Миѣ, вѣрно, потяжелѣй, чѣмъ кому другому, отказаться отъ писательства, когда это составляло единственный предметъ всѣхъ моихъ помышлений, когда я все прочее оставилъ, всѣ лучшія приманки жизни и, какъ монахъ, разорвалъ связи со всѣмъ тѣмъ, что мило человѣку на землѣ... Однѣ изъ лучшихъ минутъ моей жиз-

ии были тѣ, когда я, наконецъ, клалъ на бумагу то, что выносилось долговременно въ моихъ мысляхъ; когда я и до сихъ поръ увѣренъ, что сдва ли есть высшее изъ наслажденій, какъ наслажденіе *творить*. Но, какъ честный человѣкъ, я долженъ положить перо даже и тогда, если бы почувствовалъ позывъ къ нему» (817).

Послѣднія строки мы прибавили къ тому лишь, чтобы высказать свое сомнѣніе, на сколько бы у Гоголя хватило «честности» сдѣлать это, если бы не отнялась у него самая способность писать... Любопытнѣе всего то, что умирающій уже талантъ Гоголя, въ предсмертныя минуты жизни своей, пока есть еще сила, какъ вѣрный конь сбившемуся съ пути своему сѣдоку, самъ чутьемъ, по привычкѣ, отыскиваетъ ему настоящую вѣрную дорогу къ обрѣтенію потерянной имъ способности творить. Дѣло въ томъ, что свойства этой способности, какъ самъ опредѣлилъ себя Гоголь, заключались въ томъ, что онъ никогда ничего не создавалъ въ воображеніи, что у него только то и выходило хорошо, чѣмъ взято было изъ данныхъ ему известныхъ, въ особенности же «изъ данныхъ мельчайшихъ подробностей *внѣшности*». Полюбуйтесь же теперь на то, какъ Гоголь, уже въ качествѣ «проповѣдника», или какъ, лучше, его вѣрный конь, талантъ самъ, пользуясь ловко обстоятельствами («переписка съ друзьями»), набираетъ самъ матерьялъ своему хозяину, на случай, если бы къ нему вновь возвратилась способность писать. Одного (письмо къ А. О. Р.) онъ просить, *между прочимъ*, записывать для него, въ видѣ журнала, каждый день, свои наблюденія хотя въ слѣдующихъ словахъ: «сегодня я услышалъ вотъ какое мнѣніе; говорилъ его вотъ какой человѣкъ, характера онъ слѣдующаго (въ бѣглыхъ чертахъ портретъ его); съ вида онъ казистъ, приличенъ или не казистъ и не приличенъ; держитъ

руку вотъ какъ, сморкается вотъ какъ, нюхаетъ табакъ вотъ какъ...» (784). Что это, какъ не «мельчайшія подробности виѣшности», и къ чему это, въ виду какихъ цѣллѣй, какъ не ближайшихъ цѣллѣй будущаго творчества,— понадобилось Гоголю знать? Или напр. (въ письмѣ къ «губернаторшѣ») просить, почти умоляясь, дабы онъ могъ получить «полное понятіе о ея городѣ», прислать на выдержку двѣ-три сiletни, предлагая даже г-жѣ губернаторшѣ записываніе таковыхъ сдѣлать предметомъ «постоянныхъ занятій, положенного часа въ днѣ», узнать, что кто любить, что кому изъ жителей нравится, на чёмъ конекъ каждого, въ чёмъ должность каждого и «сколько въ ней можно принести добра» и т. д. и т. д. (666—667). Въ этомъ родѣ просьбъ Гоголевскихъ можно въ достаточномъ количествѣ отыскать въ его «перепискѣ съ друзьями» — и все это, какъ будто «между прочимъ», въ перескоку съ наставленіями, советами и моралью въ строго «учительскомъ» духѣ.

IV.

Талантъ, съ точки зреїнїя этики, дѣлается заслугою лишь будучи разсматриваемъ какъ сознательное творчество художника, выполняющаго свое жизненное назначеніе: *въ этомъ же видѣ* талантъ уже не дается въ непосредственномъ, но его *приводятъ* къ этому путемъ воспитанія самого себя; выбрать, слѣдовательно, свой талантъ этически равносильно для художника «*обрѣтенію себя самого со этической стороны*». Слѣдовательно, та предварительная подготовка, которую этика предлагаетъ, въ этомъ смыслѣ, закончить художнику *до* выступлениія его на эстетическое поприще инсателя, не есть подготовка въ общепринятомъ смыслѣ «раз-

витія»—въ смыслѣ объективнаго наполненія: развитія умственнаго, эстетического, развитія наблюдательности и т. п., а въ смыслѣ развитія именно того внутренняго въ себѣ начала, чрезъ которое, какъ прекрасно выразился гр. Толстой въ XII-мъ томѣ своихъ соч., «духовная дѣятельность человѣка является его внутреннимъ тяжелымъ призваніемъ, единственнымъ несомнѣннымъ, признакомъ присутствія котораго является самоотверженіе, жертва собою для проявленія вложенной въ человѣка на пользу другимъ людямъ силы...» Такъ вотъ, съумѣть внести это внутреннее этическое начало и въ свою дѣятельность эстетическую, придавъ послѣдней, въ собственныхъ глазахъ, значеніе лишь служебное, подчиненное, съумѣть найти свое внутреннее призваніе и найдя—увидѣть въ немъ столько же правъ, сколько и обязанностей, налагаемыхъ имъ, столько же эстетического наслажденія процессомъ творчества, сколько и нравственной отвѣтственности,—это-то и значитъ—выбрать свой талантъ этически, направляя его согласно высшей красотѣ, ибо эта «высшая красота» и есть, по выраженію гр. Толстого, «истинная красота добра», въ отличие отъ той «красоты веселаго зла», исключительность служенія которой вызвало позже столько въ немъ раскаянія: «...Сколько разъ, говорить онъ, ухитрялся я скрывать въ писаніяхъ своихъ тѣ затаенные стремленія души своей къ *истинной красотѣ добра*, такое странное развитіе которыхъ составило позже оправданіе и смыслъ моей жизни» (Испов.). Что же, спрашивается, вызывало эти «ухищрепія»?—Отвѣтъ: исключительно-эстетической взглядъ на свой талантъ, какъ источникъ чисто личныхъ цѣлей успѣха, честолюбія, тщеславія... Чѣмъ вызвано позднѣйшее «раскаяніе» гр. Толстого? сознаніемъ той *прислуживающей* роли, которая отводилась имъ своему таланту, и благодаря которой онъ долженъ былъ,

служа отраженіемъ дѣйствительной жизни, заниматься, въ угоду вкусамъ своего свѣтскаго кружка или толпы, исключительно лживой идеализацией и того соціального начала борьбы съ ея богомъ—«богомъ силы, насилия, козней, мести, съ ихъ ангелами—властью, умомъ, красотою, талантомъ, обманомъ» («Исповѣдь»), на которомъ строится еще жизнь большинства людей... «...Я зналъ, что это нравится большинству, и потому, какъ въ жизни, слѣдуя по течению, я поклонялся лишь силѣ и красотѣ силы, такъ и въ произведеніяхъ своихъ я больше всего воспроизводилъ всѣ красивыя проявленія индивидуальной силы («Испов.»).

Мы не знаемъ, какое направленіе приняло бы творчество Гоголя и гр. Толстого, подъ вліяніемъ законченного съ молоду воспитанія своего таланта въ этическомъ смыслѣ: описывали-ли бы они намъ тѣхъ же лицъ и ту же среду или подарили бы нась образами иной среды, иного характера, дали-ли бы они намъ тѣ-же идеи или другія и въ иной формѣ,—можетъ быть даже оказались бы великими и полезными тружениками совсѣмъ въ иной сферѣ, на иномъ поприщѣ дѣятельности,—но несомнѣнно одно, что закончи они періодъ этическаго своего воспитанія въ молодости, до выступленія на литературное поприще, пройди они тогда же такъ называемый «мистический» періодъ въ развитіи, выступи они на свое поприще окончательно сформировавшимися «гражданами земли своей» (по выраж. Гоголя)—этого несчастнаго перелома не случилось бы въ ихъ литературной дѣятельности, и они подарили бы нась, вѣроятно, еще не однимъ томомъ своего сознательно-художественного творчества, гдѣ они могли бы быть такими же проповѣдниками «красоты добра», какими они считали себя послѣ, съ тою лишь разницей, что тогда проповѣдь эта облеклась бы въ поэтическую форму,—форму болѣе привлекательную, болѣе

доступную и, следовательно, более могучую и действительную въ смыслѣ *влияния* своего на насть. Нравоученія, какъ прекрасно доказалъ еще Бокль, мало принесли пользы, но поэтическіе идеи и образы всегда были двигателями человѣчества....

Такимъ образомъ мы не утверждаемъ непреложность и истинность *созданной* уже Гоголемъ или гр. Толстымъ художественной красоты; мы не говоримъ, что выше, чище, лучше и истиннѣе ся, въ эстетическомъ и этическомъ отношеніяхъ, они бы не могли уже создать (къ тому же, созданія ихъ действуютъ на насть вовсе не потому, что они—сама истина, а потому, что они — самая реальная, самая правдивая и точная возсозданія знакомой намъ действительной жизни; это—портрѣтъ, поразительность сходства котораго вызываетъ вашу улыбку...); иначе сказать, мы не о *твореніяхъ* жалѣемъ, а о погившемъ *творчествѣ*.

Повторяемъ, гибель таланта не есть слѣдствіе недостатка развитія въ *объективномъ* смыслѣ; такой недостатокъ всегда можетъ быть пополненъ позже, при чмъ пополненіе не только не губитъ таланта, но еще способствуетъ расширению сферы его примѣненій, раздвигая область наблюденія и заставляя его избирать своими задачами существенные явленія вѣка, сквозь игру случайностей добираться до «типъ», создавать направлени... Безъ этой *объективной* подготовки тоже нельзя себѣ представить истинно-художественного таланта (и лишь таланты сомнительной геніальности и несомнѣнного невѣжества могутъ думать, будто знаніе способно «уничтожить оригинальность» таланта; но они лучше бы сдѣлали, если бы вспомнили слова Гёте па этотъ счетъ, какъ лишь ничтожный огонь гаснетъ, если положить много дровъ на него, тогда какъ большой—разгорается черезъ это еще съ большою силою...)

Но недостатокъ объективной подготовки, недостатокъ знаний, повторяемъ, еще не губить самъ по себѣ таланта.— и гибель Гоголевскаго, напр., таланта, произошла вовсе не отъ того, какъ онъ думалъ, что онъ недостаточно былъ развитъ въ школьнѣмъ смыслѣ; недостатокъ этотъ онъ всегда могъ пополнить,— и онъ сдѣлалъ это позже, за дверями уже школы,— а отъ того, что отношенія его къ своему таланту остались этически *не сознанными*, благодаря чему, развиваясь самъ этически уже въ зрѣломъ возрастѣ, онъ сталъ во всемъ видѣть «красоту души»— даже тамъ, где ея и помину не было,— отъ того, значить, что онъ «обрѣлъ себѣ» не *до* выступленія на литературное поприще, а *черезъ* него, такъ что самое художественное творчество его явилось ему какъ бы вспомогательнымъ къ тому *средствомъ*: черезъ него, напр., какъ онъ самъ призывался, онъ отдѣлялся отъ многихъ своихъ недостатковъ, передавая ихъ своимъ героямъ, надѣляя ихъ, такимъ образомъ, «сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, еще свою собственною дрянью...» *)

Вотъ эта-то несознанность своихъ этическихъ отношеній къ своему таланту, это смыщеліе своей субъективной этической дѣятельности со эстетической, благодаря которому самое творчество является лишь средствомъ выяснить себѣ самого же себя съ этической стороны, такъ что съ одной стороны (въ первой половинѣ литературной дѣятельности) являются типы отрицательные, какъ олицетвореніе во вѣтъ своихъ же недостатковъ, а съ другой (во

*) «Вотъ какъ это дѣлалось: взявши дурное свойство мос, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себѣ вообразить его въ видѣ смертельнаго врага, напесшаго мнѣ самое чувствительное оскорблѣніе, преслѣдовалъ его на смѣшкою, злобою и чѣмъ ни попало...» «...Я уже отъ многихъ моихъ гадостей избавился тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, осмѣялъ ихъ и заставилъ другихъ также надѣяться...»

(«Избранныя мѣста изъ переписки съ друзьями», IV т. соч., стр. 646, 649).

второй половинѣ литературной дѣятельности)—типы quasi—идеальные, какъ то-же олицетвореніе уже хорошихъ нравственныхъ пріобрѣтеній самого автора (2-ая часть «Мертвыхъ душъ»; Пьеръ, Левинъ гр. Толстого)—это-то все и характери-зуеть литературную дѣятельность какъ Гоголя, такъ и Льва Толстого.

О послѣднемъ, вѣроятно, болѣе страннымъ будетъ это услышать, такъ какъ съ литературною дѣятельностью гр. Толстого вначалѣ и долго еще послѣ (вплоть до появленія «Исповѣди») привыкли всегда соединять творчество совер-шенно *объективное*, свободное и безъотносительное, его лич-ные отношенія къ воспроизведимымъ имъ типамъ считались вполнѣ отрицательными, такъ что, въ конечномъ результаѣ, главнымъ содержаніемъ всей этой литературной дѣятельно-сти могло быть—и было на самомъ дѣлѣ—признано «анализъ нравственной несостоятельности безхарактерныхъ геросвъ («лишихъ людей») интеллигентной среды»; при чёмъ, надо замѣтить, графу Толстому въ особую заслугу предъ прежними авторами «лишихъ людей» 40-хъ годовъ, ставили его особенное умѣніе «отѣнить» эту «безхарак-терность» противоположными качествами лицъ, взятыхъ изъ иной, болѣе здоровой, среды,—его постоянныя (опять таки, по мнѣнію критики, вполнѣ «объективныя») противопостав-ленія, дѣлаемыя имъ въ этомъ смыслѣ, благодаря чему и самое «отрицаніе» гр. Толстого будто-бы выигрывало въ неизмѣримой степени.

Но вотъ выведенъ былъ гр. Толстымъ въ «Войнѣ и мирѣ» Пьеръ—и это, казалось, должно бы было быть первымъ поводомъ къ тому, чтобы усомниться въ на-личности у гр. Толстого приписываемыхъ ему критикою ка-чествъ объективности и отрицательности по отношенію къ выводимымъ имъ безхарактернымъ героямъ.

Въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ Пьеръ, этотъ *пес plus ultra* «безхарактерности», оставилъ за собою, въ этомъ отношеніи, всѣхъ своихъ предшественниковъ у гр. Толстого, могъ явиться, въ концѣ романа, у своего объективнаго автора-отрицателя такимъ, что онъ выходилъ у него выше всѣхъ головою, и читатель оказывался въ полномъ недовѣріи,—кто сей господинъ — *чей* процессъ нравственнаго перерожденія описывается—Пьера-ли, или самого автора?... «Прежде, говоритъ гр. Толстой, Пьеръ казался хотя и добрымъ человѣкомъ, но несчастнымъ (?), и потому невольно люди отдалялись отъ него (это отъ Пьера-то!?). Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта и въ глазахъ его свѣтилось участіе къ людямъ—и людямъ пріятно было въ его присутствіи... (въ присутствіи кого? Пьера? Да кому же и когда было это непріятно, — въ «Войнѣ и мирѣ», по крайней мѣрѣ?). Прежде онъ много говорилъ (рѣшительно не помнимъ), и мало слушалъ, горячился, когда говорилъ, теперь онъ рѣдко увлекался разговоромъ и умѣлъ слушать такъ, что люди охотно высказывали ему самыя задушевныя тайны (?) ..» «Прежде разрушавшій всѣ его умственныя постройки, страшный вопросъ: «зачѣмъ?» теперь для него не существовалъ. Теперь на этотъ вопросъ—зачѣмъ?—въ душѣ его всегда готовъ былъ отвѣтъ: затѣмъ, что есть Богъ», и т. д. Далѣе идутъ разсужденія, какъ будто прямо выхваченные изъ «Исповѣди» и XII-го тома. Съ появлениемъ, затѣмъ, въ печати «Мыслей вызванныхъ переписью», людямъ, желавшимъ видѣть въ творчествѣ гр. Толстого, *объективное* значеніе его «противопоставленій», которыя, въ свою очередь, предполагали всестороннее изученіе нравовъ и быта простыхъ людей, стало еще труднѣе поддерживать это мнѣніе свое, когда они услышали отъ самого автора о тѣхъ наивныхъ его открытіяхъ, которыя онъ сдѣлалъ для себя

изъ самыхъ обыкновенныхъ, видѣнныхъ имъ (въ Москвѣ во время переписи) явлений реальной жизни и быта этихъ самыхъ простыхъ людей... Чѣмъ же объяснить эти «наивности» и какой смыслъ, въ такомъ случаѣ, имѣли его прежнія «оттѣненія»? Для чего понадѣбились ему его «противопоставленія» безхарактерныхъ, лишнихъ людей интеллигентной среды съ положительными типами иной среды и какой характеръ этихъ противопоставленій—*субъективный* или *объективный*?

Въ томъ-то и дѣло, что графу Толстому нужны были эти противопоставленія, такъ сказать, въ «образовательномъ отношеніи».

Когда цѣли эстетическія были достигнуты или отброшены,— и эстетическія «противопоставленія» прекратились сами собою. Но тогда же выступили на сцену иные противопоставленія, съ инымъ характеромъ, который и вызвалъ указанную уже «наивность»: противопоставленія эти приняли характеръ этическій: когда почтенный авторъ «Войны и мира» ходитъ по стогнамъ Москвы, его самого отлично «оттѣняютъ» реальные люди заботы, нужды, вѣры и труда; его поражаетъ буквально все, отъ начала до конца, въ жизни бѣдного столичнаго люда; онъ передаетъ въ печати вынесенные тяжелыя впечатлѣнія—и печать, критика, преснокойно объясняютъ тяжесть этихъ впечатлѣній «чуткостью—де художественной (т. е. эстетической) натуры»... Но имѣло тогда-то, когда онъ былъ художникомъ, эстетикомъ, когда онъ дѣлалъ свои противопоставленія *эстетически*,—ничто изъ этого и не поражало его и онъ преснокойно, со всею аристократическою чуткостью своей художественной натуры, могъ пройти мимо голоднаго семейства, нищеты, болѣзни—стоило лишь вѣремя «эстетически» отвернуться и заняться предметами болѣе привлекательными!.. Если че-

ловѣкъ все таки неотворачивается, а начинаять еще зондировать рану, присматриваться, съ намѣреніемъ, къ ея зіюющей глубинѣ, то вѣрно ужъ не цѣли «эстетическихъ противопоставленій» его къ тому побуждаются... .

Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ любопытнымъ явленіемъ, до сихъ поръ еще, кажется, сопровождающимъ проповѣдническую дѣятельность гр. Толстого. Дѣло въ томъ, что прежними своими высоко-художественными произведеніями гр. Толстой до того пріучилъ публику и критику къ исключительно *эстетическому* критерію, въ оцѣнкѣ своихъ печатныхъ произведеній, что даже послѣ уже, когда онъ давнымъ давно покорвалъ со всѣмъ «эстетическимъ», въ пользу «этическаго», когда дѣятельность и писанія его приняли исключительно характеръ послѣдняго, т. е. *имѣ* стали освѣщаться, согласно его красотѣ, направляться,— публика и печать, какъ бы не вѣря, не желая вѣрить перелому, продолжала все еще примѣгать свою «эстетическую» мѣрку ко всему, что ни напишетъ ея любимецъ, отыскивая и восхищаясь только тѣми мѣстами его писаній, где нѣтъ-нѣтъ да проглянетъ знакомая, прежняя «красота».. Собственно еще «Анна Каренина» уже требовала критерія этическаго, а не эстетического для своей оцѣнки, а между тѣмъ, до появленія труда Громека, всѣ, начиная съ Тургенева, *) ограничивались лишь перечисленіемъ «истинно-великолѣпныхъ» страницъ, въ художественномъ отношении, просмотрѣвъ,— какъ доказалъ лишь 10 лѣтъ спустя Громека, (авторъ этюда: «Послѣднія

*) Вотъ, что, напр., писалъ онъ въ 1875 году Полонскому по поводу «Анны Карениной»: «Новый романъ чнѣ не нравится, хотя попадаются истинно-великолѣпные страницы (перечисляются лучшія «эстетическія» мѣста), но все это кисло, пахнетъ Москвой, ладономъ, старой дѣвой, славянщиной, дворяниномъ и пр.» Неправда-ли, это можетъ говорить лишь эстетикъ *сang rig*, такъ сказать прямолинейный, не смущаемый никакими коллизіями?

произведенія гр. Л. Толстого») — нравственную идею романа, этическій характеръ и духъ его тенденці... Помню, затѣмъ, какъ изъ «думской» рѣчи того-же гр. Толстого выписывали, запоминали и заучивали лишь конецъ ея — мѣсто «эстетическое» раза excellence: «пускай механики придумываютъ машину, какъ приподнять тяжесть, давящую насъ — это хорошее дѣло; но пока они не выдумали, давайте мы, по дурацки, по мужицки, по крестьянски, по христіански налегнемъ народомъ, не поднимемъ-ли. Дружнѣй, братцы, разомъ!..» Фраза, дѣйствительно, красавая и эффектная, но въ то время какъ для самого гр. Толстого она, навѣрное, менѣе всего имѣла значенія передъ остальною его рѣчью, была невольною, такъ сказать, данью тѣмъ еще крѣпкимъ въ насъ требованіямъ, съ которыми, мы, люди XIX вѣка, подобно древнему Израилю, обращаемся къ своему пророку: «говори намъ *пріятно* и мы станемъ тебя слушать» — для другихъ, для насъ, она, эта пышная фраза, получила значеніе *piéce de résistance* всей рѣчи, ея сути, а за остальную ея часть намъ, какъ и слушавшимъ ее «думцамъ», стало, вѣроятно, «не ловко», не по себѣ....

И такъ, возвращаясь къ поставленному вопросу о характерѣ «противопоставленій» гр. Толстого, дѣлаемыхъ имъ въ своихъ произведеніяхъ, мы должны признать за ними, дополняя недосказанное гр. Толстымъ-эстетикомъ позднѣйшими его признаніями, — характеръ исключительно *субъективный*. Дѣло въ томъ, что гр. Толстой, подобно Гоголю, приближалась уже въ зреломъ возрастѣ къ своему этическому «самообрѣтенію», такъ же какъ и послѣдній, началъ смышливать субъективную область своей внутренней, этической дѣятельности съ эстетической, обративъ самое творчество въ *средство*, перенося *во вни*, въ своихъ героеvъ субъективный моментъ собственного развитія, на которомъ заставала его та или иная стадія этого послѣдняго.

Бѣда въ томъ, что для олицетворенія во внѣ, въ художественной формѣ собственного отвлеченаго желанія быть лучшемъ въ моральномъ смыслѣ, можетъ быть съ художественной точки зрењія соблюдено все для полноты дѣйствія на читателей, но главное все таки будетъ отсутствовать: объективная наличность чего либо подобнаго, какъ видимаго, въ окружающихъ насть лицахъ и жизни. Оно, желаніе это, остается, вѣдь, всегда работой внутренней,—отвлеченной и глубже всѣхъ затаеной въ душѣ человѣка и потому наимѣнѣе доступной наблюденію: каждый сознаетъ ее про себя, но рѣдко обнаруживаетъ это сознаніе по различнымъ практическимъ соображеніямъ.

И вотъ, въ этомъ-то пунктѣ, талантъ гр. Толстого всегда сталкивался съ «тенденціозностью»,—столкновеніе, разрѣшившееся, большею частью, въ ущербъ правдивости его изображеній. Когда Громека писалъ, въ своемъ этюдѣ, по поводу Левина, выставленного будто у гр. Толстого въ нѣсколько комичномъ свѣтѣ, что «переходъ отъ разсудочнаго міросозерцанія къ міросозерцанію религіозному (идею котораго авторъ воплотилъ-де въ Левинѣ), слишкомъ серьезна, чтобы можно было позволять себѣ выставлять лицо, воплощающее его, хоть въ скольконибудь нибудь смѣшномъ видѣ»,—онъ напрасно приписывалъ графу Толстому то, чего у него и въ мысляхъ не было. Напротивъ, можно скорѣе сказать, что гр. Толстой отдалъ на Левина весь запасъ своей искренности, эстетической серьезности и правдивости, но не его была вина, если комичнымъ для читателей оказалось въ Левинѣ, какъ мы увѣрены, вовсе не самая идея этическаго развитія, а запоздалость этого факта, когда мы видимъ почтенаго автора рисующимъ передъ нами восторженнаго 40-лѣтняго почтеннаго помѣщика—въ его «божественномъ»

видѣ, въ его чисто юношескихъ, наивныхъ увлеченіяхъ про-
цессомъ собственного морального совершенствованія....

Собственно говоря, всѣ типы гр. Толстого, въ первой половинѣ его литературной дѣятельности, такъ же какъ и Гоголя,—отрицательные (другой вопросъ, какъ относился къ нимъ самъ авторъ), но въ то же время они всѣ и прав-
дивы, потому что брались прямо изъ жизни; если же что и сообщалось имъ личаго, автобиографическаго, отвлеченнаго,
то это не занимало всего вашего вниманія; разъ же прав-
дивы—такъ песли сами въ себѣ и мораль свою читателямъ,
какъ и всѣ Гоголевскіе отрицательные типы.

Но личное сознаніе авторовъ, непосредственно начав-
шихъ творить, склонно, по мѣрѣ ихъ собственно этическаго
развитія *черезъ* творчество, предпочитать противоположный
взглядъ на «мораль» своихъ произведеній,—именно, что
«учительская» сторона, моральное вліяніе ихъ на читателя,
болѣе выиграетъ отъ изображенія идеальныхъ, отвлеченныхъ
сторонъ, когда эти послѣднія будутъ сообщены авторами
своимъ героямъ, какъ олицетворенное собственное «желаніе
быть лучше».... Читатель, конечно, не затруднится, послѣ
всего сказаннаго нами, найти объясненіе такому предпочтѣ-
нію: авторы склонны предпочитать подобный взглядъ потому,
что могутъ сослаться на личный опытъ, на то, какъ черезъ
такое олицетвореніе выиграли они *сами*, ихъ нравственное
развитіе, то они забываютъ при этомъ только то, что самое
свое творчество они, вѣдь, и сдѣлали вспомогательнымъ къ
тому средствомъ: *черезъ него* они, вѣдь, думаютъ «обрѣсти»
себя самихъ ..

Вотъ почему такія лица въ произведеніяхъ гр. Толсто-
го, какъ Пьеръ (въ концѣ романа) и Левинъ, гдѣ эта субъек-
тивная сторона автора, его *pro domo suo* слишкомъ пресблода-
ютъ,—съ художественной точки зрењія не такъ типичны,

какъ другія лица его: примѣшавшееся сюда «отвлеченное», субъективное и личное—мѣшаютъ этой типичности, и при всей, можетъ быть, правдивости и психологической вѣрности изображенія происходящаго внутри ихъ сокровеннаго процесса, они все таки—лица отвлеченныя, идеальныя, такъ какъ въ объективной жизни, видимаго нами все таки ничего подобнаго намъ не встрѣчалось.

Надѣляя своихъ героевъ идеальными чертами того нравственнаго совершенства, на стремлениіи къ которому застала автора та или другая стадія его собственнаго развитія, гр. Толстой, какъ и Гоголь, просто *объективируютъ*, если можно такъ выразиться, собственный моментъ этого развитія и источникомъ этого объективированія является смѣшеніе, петочное разграничение эстетическихъ началъ своей художественной дѣятельности отъ этическихъ своей нравственной,—смѣшеніе, обусловливающее, какъ мы видѣли, запоздалостью проснувшихся въ художникѣ потребностей его нравственного самоопределѣнія. И въ сознаніи этого недостатка самоопределѣнія, какъ увидимъ, заключенъ былъ источникъ всѣхъ перипетій душевной драмы въ гр. Толстомъ, приведшихъ его къ отрицанію, сначала, своей собственной эстетической дѣятельности во всемъ ея прошломъ, а затѣмъ и всего искусства, какъ «баловства»... Подчеркивая то обстоятельство въ своей «Исповѣди», что онъ всегда *училъ* «самъ не зная чѣму», гр. Толстой каждый разъ подчеркиваетъ именно это сознаніе противорѣчія между «учительствомъ» своего таланта и своимъ исключительно эстетическимъ на него воззрѣніемъ, его «прислуживающимъ» значеніемъ,—противорѣчіе, въ которое онъ сталъ отчасти самъ, отчасти, вѣроятно, поставилъ его слишкомъ, можетъ быть, эстетическій характеръ даннаго ему сословнаго воспитанія, отчасти бросила и поддерживала постоянно критика («писа-

тельскіе взгляды»), съ своимъ юміамомъ «безсознательному» творчеству,—противорѣчіе, въ которомъ его, чуткой къ нравственнымъ вопросамъ, душѣ, его совѣсти, никакъ не давалось примиреніе двухъ такихъ вещей, какъ учительство съ одной стороны, и «неумѣніе отвѣтить на самый простой въ нравственномъ смыслѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ единствено-важный вопросъ жизни—что хорошо, что дурно»—съ другой. «...И вотъ не зная этого единственнаго важнаго въ жизни, не зная добра и зла, чему-то кого-то учили, кричали, не слушая другъ друга... И я, смутно чувствуя ложь эту, страдаль, но не имѣль духа отречься отъ чина учителя и гордость моя, и сумасшедшая увѣренность, что я призванъ учить людей самъ не зная чему, все болѣе, и болѣе развивалась... («Исповѣдь»).

Да, странное, въ самомъ дѣлѣ, трагическое зрѣлище!... Мы все предусмотрѣли въ эстетическихъ вопросахъ таланта и его развитія, мы пишемъ цѣлые этюды по психологіи художественнаго творчества, мы уясняемъ законы истинно-художественнаго творчества, различія свободнаго и несвободнаго, объективнаго и тенденціознаго, мы окунаемся въ волны вѣковѣчныхъ дебатовъ о преимуществахъ теорій чистаго искусства, искусства для искусства и ей противоположной и т. д. Мы не предусмотрѣли лишь того трагикомического положенія, въ которомъ можетъ очутиться, въ одинъ прекрасный день, художникъ въ родѣ Гоголя или гр. Толстого, пожелающій, вооруженный нравственными требованіями своей совѣсти, выяснить послѣдней нравственное значеніе и смыслъ натвержденныхъ ему, чуть не съ дѣтства, выраженій «безсознательного учительства», или потребовать отчета въ такихъ двухъ, морально исключающихъ другъ друга, положеніяхъ господина поэта-учителя, художника-учителя какъ то, съ одной стороны, при которомъ этотъ «учитель» яв-

ляется рожденнымъ «для звуковъ сладкихъ и молитвъ», а съ другой то, при которомъ, въ минуты отсутствія вдохновенія, онъ же можетъ быть ничтожнѣйшимъ «изъ всѣхъ дѣтей ничтожныхъ міра...»

V.

Прежде чѣмъ наглядно показать, на самихъ герояхъ произведеній гр. Толстого, процессъ собственного его самоопределенія, этическаго самообрѣтенія его *черезъ творчество*, мы должны предпослать этому нѣсколько замѣчаній о характерѣ позднѣйшей дѣятельности гр. Толстого, о свойствахъ теперешняго «переворота въ его жизни и литературной дѣятельности, его причинахъ и слѣдствіяхъ, дабы этимъ самымъ еще болѣе подготовить почву для дальнѣйшихъ сравненій, когда мы сведемъ героевъ гр. Толстого, изъ произведеній его одинадцати томовъ, на очную ставку съ послѣднимъ его XII-мъ томомъ....

Мы представляемъ себѣ теперешній переворотъ въ міросозерцаніи гр. Толстого, какъ сознательный и добровольный *разрывъ съ эстетическимъ возропщениемъ на жизнь и талантъ*. Мы всегда думали, что въ оцѣнкѣ переворота этого, повлекшаго за собою, въ свою очередь, измѣненія въ жизни и направленіи литературной дѣятельности названнаго писателя, важно то, какое значеніе мы придали мъ, вообще, усилиямъ одинокаго индивидуума, направленнымъ къ тому, чтобы вырваться изъ атмосферы привитыхъ съ дѣтства эстетическимъ характеромъ воспитанія и успѣвшихъ всосаться въ кровь и нервы понятій и привычекъ круга, съ которыми гр. Толстой, все таки, кровно, происходенiemъ своимъ связанъ...

Вотъ почему мы всегда цѣнили въ немъ не столько разныя «ученія» его съ ихъ противорѣчіями, являвшимися

въ печати, какъ неизбѣжное слѣдствіе все той же, указанной уже нами, привычки «объективировать» переживаемую стадію развитія,—сколько *поступки*, гдѣ важно именно переходъ слова въ дѣло... «Только тѣ, говорить онъ самъ въ XII-мъ томѣ, для которыхъ важны и дороги нравственныя истины, знаютъ какъ драгоцѣнно и какимъ длиннымъ путемъ достигается уясненіе, упрощеніе нравственной истины—переходъ ея изъ туманного, неопределенно-сознаваемаго желанія, изъ неопределенныхъ, несвязныхъ выражений—въ тверое и определенное выраженіе, неизбѣжно требующее соответствующихъ ему *поступковъ*...» (235 стр.)

И вотъ, вся жизнь самого гр. Толстого, вся жизнь и безхарактерныхъ героевъ его—это уясненіе, упрощеніе себѣ нравственной истины, и мы нисколько не преувеличимъ, сказавъ, что у начала этого длиннаго процесса, гдѣ стоитъ Коля Иртеньевъ (первый герой гр. Толстого), какъ и у конца его, гдѣ замыкается онъ Левинымъ (послѣднимъ героемъ гр. Толстого), какъ и у всѣхъ промежуточныхъ героевъ, какъ и у самого автора во всю жизнь,—не было, собственно говоря, другой цѣли, какъ только, пользуясь метафорой самого же гр. Толстого, добиться возможности сознать и сказать слѣдующую простую вещь: «...я пришелъ къ тому простому и естественному выводу, что если я жалѣю ту замученную лошадь, па которой я ѿду, то первое, что я долженъ сдѣлать, если я точно жалѣю ее,—это слѣзть съ нея и идти своими ногами» (XII т. стр. 257).

Еслибы въ такой «уясненной, упрощенной» формѣ съумѣль произнести это Коля Иртеньевъ, а произнеся—съумѣль бы покаяться и дѣйствительно «слѣзть»,—не было бы ни появленія на свѣтѣ дальнѣйшихъ разновидностей безхарактернаго коллектива героя гр. Толстого, ни самого «ученія» ихъ alter ego. Въ сущности Левинъ—логически послѣднее

звѣю этой цѣпи отдельныхъ стадій развитія, и мы сомнѣваемся, чтобы гр. Толстой *послѣ него* сумѣлъ выдумать *новаго* героя: за Левинымъ долженъ быть логически вытекать или самъ нравственно перерожденный гр. Толстой («лучше поздно, чѣмъ никогда»), или опять *тотъ же* Левинъ,— безъ конца,—Левинъ, лежащій на копнѣ и все говорящій: «...Ну, такъ какъ же я сдѣлаю это?» заставляющій васъ все думать, что вотъ—вотъ сейчасъ въ жизни его произойдетъ великий переломъ и всѣ высокія стремленія его осуществляются—но, взамѣнъ этого, продолжающій лишь лежать и лежать; Левинъ, увѣряющій, въ концѣ романа, что «жизнь его отнынѣ, независимо отъ того, что можетъ случиться съ нимъ, каждая минута ея не только не безсмысленна, какъ была прежде, но имѣеть несомнѣнныи смыслъ добра.» и т. д., но и это уже вы слышали раньше—и отъ Пьера, и отъ Оленина, и отъ кн. Андрея, и отъ Неклюдова и отъ Иртеньева...».

Но переворотъ, случившійся въ гр. Толстомъ, есть тоже нечто логически вытекающее изъ этой цѣпи, ея звѣно. Мы сказали, что этотъ переворотъ представляется намъ какъ разрывъ съ эстетическимъ возврѣніемъ на жизнь,—но этого мало: онъ есть—разрывъ съ эстетическимъ возврѣніемъ, *приведшимъ къ отчаянію*, изъ котораго оставалось два выхода: или самоубійство, или жизнь на новыхъ (этическихъ) началахъ... *) Изъ этого уже видно, какъ много опять таки и здѣсь личнаго, субъективнаго, житейскаго: переворотъ вызванъ вѣдь невозможностью продолжать жить въ прежнихъ условіяхъ («въ условіяхъ безумія Крапивенскаго 'мужика»).

*) Въ своей «Исповѣди» гр. Толстой съ достаточнouю ясностью изобразилъ эту дилемму, описывая тѣ хитрости, которыя онъ долженъ быть употреблять противъ соблазнительной легкости привести въ исполненіе мысль свою о самоубійствѣ.

Какимъ же образомъ «ученію» гр. Толстого, являющемуся непосредственно послѣ этого переворота, хотѣть отвести мѣсто чуть не въ исторіи «философскихъ системъ», съ которыми оно рѣшительно не имѣеть ничего общаго? *) Пытается ли оно построить полное, болѣе или менѣе связное объективное міросозерцаніе? дать новыя основанія знанію, наукѣ? Ничуть не бывало.

Въ основаніи его одно желаніе: озвѣтить на потребность въ личномъ успокоеніи, разрѣшить загадку личной индивидуальной жизни... Въ проповѣдуемомъ имъ идеалѣ новой жизни, съ положительной стороны, вы не найдете ничего, что было бы пригодно для васъ, для вашей семьи, знакомыхъ; онъ лишь пригоденъ для нашедшаго его, такъ какъ въ проповѣдуемомъ имъ *pro domo suo* идеалѣ есть все, нужное ему самому, но очень мало, почти ничего пужнаго и, главное, — доступнаго для всѣхъ... Ему, просто, говоря вульгарно: *выгодно*, ново, пріятно, замѣнить *исжитую* жизнь новою, которая для него уже — жизнь № 2. Исжитая гр. Толстымъ жизнь № 1-й, это — жизнь исключительного эстетика, жизнь его круга людей, жизнь того сумасшедшаго «Крапивенскаго мужика», о которомъ гр. Толстой самъ говорить, что видѣть въ немъ, какъ въ зеркалѣ, себя и свое сословие, и для котораго весь смыслъ этой жизни

) Г. Оболенскій въ «Русскомъ Богатствѣ» особенно много потрудился на возведеніе гр. Толстого то въ «наши россійские «Фаусты», то въ олицетвореніе какой-то «стадіи прогресса», духа времени и т. п. Особенно любопытно открытие, которое онъ недавно («Рус. Богат.»*, Іюнь, 1888 г. *«Дневникъ читателя»*) сдѣлалъ, разбирая романъ «Три теченья» г-жи Шабельской; изъ того, напр., что Лидія (одна изъ героинь этого романа), незная о теоріяхъ гр. Толстого стремится къ естественному труду на чистомъ воздухѣ, онъ заключаетъ, что «въ этомъ лучшее доказательство, что стремленіе въ деревню, стремленіе «опроститься» не есть результатъ идеи какого либо писателя, а результатъ духа времени, стадія прогресса. Самъ гр. Толстой есть только одинъ изъ выражений этого движения (стремленія къ землѣ)».

заключается въ томъ, чтобы «окончивъ чицовъ, жить для разгулки времени, и получать отъ Государя Императора открытый банкъ, между тѣмъ какъ крестьяне, для которыхъ это незатруднительно, по выдумкѣ машинъ, управлять всѣ дѣла...»

Тотъ же личный характеръ, переворотъ гр. Толстого будетъ имѣть рассматриваемый съ точки зрѣнія не жизни, а литературной дѣятельности его, такъ какъ и въ этомъ случаѣ, оно, переворотъ этотъ, есть не болѣе, какъ тотъ-же «разрывъ съ эстетическимъ воззрѣніемъ» на *трудъ*, на *талантъ*, воззрѣніемъ видящимъ въ этомъ талантѣ лишь пріманку для «честолюбія, гордости, тщеславія» и другихъ, недостойныхъ великаго художника, мелкихъ ничтожныхъ страстей. («Какъ дѣлаеть, спрашивалъ Гёте, природа, чтобы соединить въ одномъ человѣкѣ высокое и низкое? Она для этого употребляеть тщеславіе.») Гр. Толстой, богачъ, въ своемъ желаніи освободиться отъ этихъ страстей, устраивая себѣ теперь *искусственную* бѣдность (*игру въ бѣдняка*), какъ остроумно замѣтилъ кто-то очень хорошо понялъ и тонко постигъ этически-воспитательное значеніе борьбы «за пропитаніе», заботы о хлѣбѣ... Дѣло въ томъ, что во всякой другой области человѣческой борьбы награда связана съ удовлетвореніемъ именно такихъ страстей, какъ «честолюбіе, тщеславіе, гордость»; кто захочетъ отъ нихъ освободиться (какъ гр. Толстой), тотъ, начавъ борьбу за пропитаніе, скоро увидитъ, какъ эти страсти одна за другую измѣняютъ ему, такъ какъ человѣкъ борется здѣсь единственно для того лишь, чтобы имѣть возможность продолжать ту-же борьбу... Борьба, въ этомъ смыслѣ, есть какъ бы нравственное *лечение трудомъ*, *Arbeitscur* *), если можно

*) Терминъ, придуманный на косъбѣ въ Покровскомъ Левиномъ.

такъ выразиться, въ томъ смыслѣ, въ какомъ говорятъ про леченіе *несчастіемъ* (Unglücksur), про леченіе *волею...*

Обрѣтая себя этическа на склонѣ лѣть, гр. Толстой могъ бы, конечно, только сказать: «лучше поздно, чѣмъ никогда»... Но запоздалость эта послужила для него, какъ и для Гоголя, источникомъ любопытнаго явленія, свойственаго, кажется, только славянской натурѣ: въ немъ явилась непреоборимая потребность *искупленія, самобичеванія...* почти мученичества, мистическая сила и суровость которыхъ возрастили пропорціонально степени раскаянія, (въ данномъ случаѣ — въ неупотреблении или въ неподобающемъ употреблении дарованныхъ имъ «на благо людей» духовныхъ силъ, — таланта). Пропорціонально силѣ этого раскаянія увеличивается у гр. Толстого и безпощадность отрицанія,—но отрицанія, опять таки, въ его истинномъ значеніи, чисто личного, направленного лишь противъ своего прежняго исключительно «эстетического» служенія искусству, «баловства»... А между тѣмъ это чисто личное, субъективное отрицаніе *pro domo suo*, отрицаніе прежней своей жизни, прежняго своего способа служенія искусству, какимъ-то образомъ получило у гр. Толстого характеръ обобщеннаго, огульного отрицанія и *всякаго* искусства, какъ «баловства», и всякой науки и культуры, и всей жизни современного цивилизованного человѣческаго общества! Какъ могло случиться это? Въ данномъ случаѣ какъ бы нашла себѣ примѣченіе пословица: *разсердясь на вишай, да шубу вѣ печь...* Въ «Исповѣди» гр. Толстой вѣрно замѣтилъ, что онъ «заблудился не столько отъ того, что мыслилъ неправильно, сколько отъ того, что *жилъ* неправильно», что онъ, далѣе, (XII т.), потому, «развратился и сбился съ пути, что больше всѣхъ служилъ и потворствовалъ ложному ученію нашего мира (переводи: исключительности эстетического взрѣнія на жизнь и та-

ланть), больше всѣхъ получалъ одобреній отъ людей царствующаго ученія...» А между тѣмъ, карай себя лично за все это, онъ считаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣшеніе вопроса, которое онъ нашелъ *для себя*, пригоднымъ и для всѣхъ, считаетъ возможнымъ, игнорируя реальную жизнь и ея требованія, отвѣтить даже неискущенному еще жизнью «молодому человѣку», отвѣтить на его вопросъ «что дѣлать?»— то, что ему самому могла пропитовать лишь потребность «искушленія», а именно: «покаяться, т. е. выварить изъ себя остатки ложнаго мнѣнія о значеніи своего образованія и своихъ талантовъ.» Гр. Толстой думаетъ, что если для него самого вопросъ «что дѣлать, чтобы быть полезнымъ?» есть не болѣе какъ вопросъ «покаянія въ лучшихъ его годахъ, проведенныхъ въ праздныхъ и развѣацающихъ душу занятіяхъ», то, слѣдовательно, и для друзіихъ, и для *всіхъ*, вопросъ этотъ непремѣнно долженъ представляться и формулироваться именно въ такой редакціи и что випою той «гордости своимъ образованіямъ», которая затемняетъ истинный смыслъ вопроса «что мнѣ дѣлать, чтобы и т. д.», должно быть это образованіе, а не *я самъ*, неумѣющій этически отнестись къ обязанностямъ, вытекающимъ изъ моего образования. «Я слышу часто вопросы хорошихъ молодыхъ людей, сочувствующихъ отрицательной части моего писанія и спрашивающихъ: ну, такъ что же мнѣ дѣлать? Что дѣлать мнѣ, кончившему курсъ въ Университетѣ, для того, чтобы быть полезнымъ?» Если спрашивающіе такъ, дѣйствительно, «хорошіе» молодые люди, то не можетъ же быть, чтобы они задавали этотъ вопросъ на вѣтеръ, изъ празднаго любопытства или желанія просто потревожить проповѣдника въ его «кельѣ подъ елью» и *на самомѣ дѣлть* не желали бы «быть полезными». На такой почвѣ, казалось бы, легче всего было бы гр. Толстому сѣять сѣмена истины этическихъ на-

чаль, воззрѣнія на свое образованіе, какъ на призваніе. Но гр. Толстой рѣшилъ уже, заключая и обобщая отъ самого себя, что молодые люди спрашиваютъ это только потому, что считаютъ «великимъ преимуществомъ то образованіе, которое они получили», т. е. такъ же горды имъ и такъ же проводили свои лучшіе годы... И потому, разумѣется, искренній вопросъ «хорошихъ молодыхъ людей» остается безъ отвѣта, такъ какъ не отвѣтъ же тотъ реириандъ, какой они получаютъ въ формѣ совета гр. Толстого: «спросить себя, хорошія или дурныя свойства суть то, что они называютъ своимъ образованіемъ?» и что «если они это сдѣлаютъ, то они неизбѣжно будутъ приведены къ *необходимости отречься* отъ своего образованія и начать учиться снова...» Выходитъ, значитъ, что хороший молодой человѣкъ ушелъ съ носомъ, а тѣ начала, которыхъ, можетъ быть, были въ немъ и которыхъ гр. Толстой могъ лишь укрѣпить (не игнорируй онъ такъ «средняго» человѣка и реальнаяя требование жизни), не только не укрѣпились, но, вѣроятно, и вовсе заглохли. Вотъ такъ-то и пропадаетъ, какъ увидимъ, хорошая, *положительная* сторона «проповѣднической» дѣятельности гр. Толстого, которая есть въ ней, какъ мы покажемъ это ниже.

На самомъ дѣлѣ— не «отречься отъ своего образованія» должно бы быть признакомъ «покаянія», если я, дѣйствительно, находился въ положеніи человѣка «гордаго» имъ, а лишь—перестать быть тщеславнымъ, убѣдившись, что образованіе это налагаетъ на меня столько же обязанностей, сколько и правъ, если не больше: таковъ *этический* взглядъ на это образованіе. Черезъ этотъ взглядъ, въ примѣненіи его, вмѣстѣ съ знаніями и средствами своими, къ практической жизни, на пользу народу, — я бы больше достигъ, чѣмъ безконечнымъ «покаяніемъ» (говоримъ «без-

копечнымъ», потому что, вѣдь, разъ начавъ отыскивать «вшей» въ себѣ и своею прошломъ, трудно уже будетъ остановиться на этомъ пути все большаго и большаго приближенія къ идеалу совершенства, который и самъ, вѣдь, по мѣрѣ нашего къ нему приближенія, все болѣе и болѣе растетъ, удаляется..) Чѣмъ больше вникаешь въ «ученіе» гр. Толстого, тѣмъ болѣе становится яснымъ его «личный», *pro domo suo*, житейскій характеръ, его «a posteriori»: это, вѣдь, все то-же раскаяніе въ прежней, проникнутой исключительно эстетическимъ началомъ, жизни и таковой же литературной дѣятельности,—раскаяніе, вызвавшее, въ свою очередь, потребность искупленія половины, если не болѣе ушедшей жизни; а гдѣ существуетъ такое отношеніе, тамъ, разумѣется, и размѣры искупительной *жертвы* удесятеряются.. Напри-
мѣръ, гр. Толстой находить неправильнымъ свой вопросъ, поставленный такъ: «пока я, говорить онъ, не покаялся, я спрашивалъ: какую избрать мнѣ дѣятельность, мнѣ, человѣку пріобрѣвшему то образованіе и таланты, которыя я пріобрѣлъ. Какъ отплатить этимъ образованіемъ и этими талантами за то, что я бралъ и беру у народа?»

Если бы въ такой формѣ поставленъ былъ вопросъ человѣкомъ начинающимъ лишь жить, вступающимъ лишь на поющище общественной дѣятельности,—онъ, разумѣется, ничего неправильнаго не увидѣлъ бы въ немъ, кромѣ лишь самого естественного проявленія хорошихъ нравственныхъ началъ, внушенныхъ ему тѣмъ же образованіемъ, тою же университетскою жизнью. Но у гр. Толстого, на первомъ шагѣ, вѣдь—*искупленіе* прежней жизни, и потому намъ станетъ вполнѣ понятнымъ, почему онъ говорить далѣе, что «вопросъ этотъ былъ неправиленъ»: «вопросъ этотъ былъ неправиленъ потому, что я включалъ въ себѣ ложное представление о томъ, что я человѣкъ особенный, призванный

служить людямъ тѣми талантами и образованіемъ, которые я пріобрѣлъ 40-лѣтнимъ упражненіемъ... Я, собственно, спрашивалъ себя: какъ мнѣ, хорошему писателю, пріобрѣвшему столько знаній и талантовъ, употребить ихъ на пользу людямъ?» Гдѣ, въ чёмъ здѣсь, въ такой постановкѣ вопроса, и какая *неправильность* — это можетъ лишь видѣть бичующій себя уже во всемъ человѣкъ, жаждущій мученичества, микроскопически разматривающій «вшей» прошлой жизни.

«Вопросъ же, продолжаетъ гр. Толстой, надо было поставить такъ: что мнѣ, проведшему, по несчастію моихъ условій, лучшіе учебные годы моей жизни въ праздныхъ и развращающихъ душу занятіяхъ (въ изученіи, вмѣсто пріученія себя къ труду, грамматики, географіи, стиховъ, повѣстей и романовъ, французского языка, фортепьянной игры и военныхъ упражненій), что мнѣ дѣлать, чтобы отплатить тѣмъ людямъ, которые во все это время кормили и одѣвали меня?...» Вопросъ, собственно говоря, поставленъ тотъ-же; — если гр. Толстой думаетъ, что онъ поставленъ *иначе*, то это лишь — вслѣдствіе включенія въ него «бичевательнаго» элемента... «Если бы, заключаетъ онъ, вопросъ этотъ стоялъ такъ, какъ онъ стоитъ передо мною теперь: что мнѣ дѣлать, такому испорченному человѣку? то отвѣтъ былъ бы ясенъ: стараться прежде всего честно кормиться, т. е. выучиться не жить на шеѣ, другихъ, а, выучившись, при всякомъ случаѣ приносить пользу людямъ и руками, и ногами, и мозгами, и сердцемъ...» Да вѣтъ *этотъ же самый* отвѣтъ требовался и на вопросъ «хорошихъ молодыхъ людей»!

VI.

Мы уже говорили о привычкѣ гр. Толстого *объективировать* каждый отдельный моментъ *собственнаго развитія*, каждую крайность и противорѣчіе, на которыхъ за-

стаетъ его страшную, жаждущую истины натуру та или другая стадія этого развитія. Въ этомъ онъ сойдется развѣсь однимъ только Бѣлинскимъ, но этимъ же онъ вредилъ столько же себѣ, сколько и своему ученію, такъ какъ при такихъ условіяхъ открывается самое широкое поле для самыхъ волюющіхъ противорѣчій, и хотя, напр., тотъ же Бѣлинскій и говорилъ, что онъ «мѣняетъ свои убѣжденія какъ мѣняютъ копѣйку на рубль», но онъ же самъ лучшій даль примѣръ, какъ опасно и какими позднейшими нравственными муками сопровождается печатное служеніе различнымъ богамъ и кумирамъ: дѣло въ томъ, что печатныя противорѣчія эти, олицетворяя лишь тѣ зигзаги, которыми шло собственное развитіе автора, не мѣшаютъ въ то же время усвоять ихъ публикѣ: безъ царя въ головѣ, слѣпо и рабски послушная своему кумиру, масса такъ же слѣпно, безъ критики, готова усвоить всякую крайность, всякую «истину», или подобіе ея, отъ которыхъ самъ же кумиръ ея завтра откажется,—переварить всякія противорѣчія, лишь бы можно было оправдаться тѣмъ, что *magister ipse dixit...*

Отъ этой привычки «объективированія»—такая масса у гр. Толстого «наивностей» и открываній Америкъ, которые могутъ показаться «новостью» для него самого, да развѣ для того свѣтскаго, испорченного круга, къ которому онъ еще не такъ давно принадлежалъ... Отъ этого же самая крайность требованій его «ученія», неумѣніе или нежеланіе держаться доступной большинству *середины* въ требованіяхъ предлагаемаго идеала, вѣчино, къ тому же, растущаго для него самого. Онъ открываетъ *всю* истину и предлагаетъ всѣмъ жить сообразно съ нею. Но если въ сферѣ отдельнаго индивидуума, т. е. его же самого, гр. Толстого, нужны были десятки лѣтъ упорной умственной и нравственной работы надъ собою, дабы добиться практическаго улучшенія

своей жизни, то во сколько же разъ труднѣе и большее долженъ быть этотъ процессъ въ массѣ людей, составляющихъ общество—агрегать испорченныхъ цѣлыми поколѣніями лицъ!..

Несчастье поздно «захваченныхъ» этическими потребностями развитія натуръ, какъ мы видѣли уже, именно въ этой неспособности отрѣпиться отъ своего субъективнаго міра, *выйти изъ себя* (подобно тому, какъ крайній эстетикъ не можетъ, напротивъ, *прійти въ себя*; это двѣ крайности; жизнь не для нихъ; это два берега ея: она величественно течеть между ними; одинъ ставить свой центръ въ периферію, другой самъ себя дѣлаетъ центромъ самому себѣ), неспособность видѣть, что подъ ногами дѣлается, что надъ головою гремитъ, выйтти изъ своего внутренняго міра въ міръ объективный, гдѣ столько реальныхъ скорби, заботъ, нужды, горя... И всѣ ихъ слышать, всѣ знать про себя реальное ихъ значеніе, но не слышать ихъ лишь отвлеченные люди, занятые исключительно происходящимъ въ нихъ самихъ душевнымъ процессомъ, да еще развѣ обнародованіемъ анализа своихъ собственныхъ «просіяній» и т. п. Правда, они дѣлаютъ это лишь потому, что не живутъ еще вполнѣ сообразно выработанному нравственному идеалу, а только развиваются еще, заднимъ числомъ переживають свою юность *таптие*; ну, а всякий развивающійся, по выражению Гейне, хочетъ имѣть и видѣть свою «исторію»—не мудрено, что человѣкъ въ это время, подобно Нарциссу, влюбляется въ самого себя, сознавая самъ, какъ онъ хорошъ и желая, чтобы и другіе это видѣли... На слѣдующей уже стадіи развитія они раскаются, пожалуй, въ своемъ публичномъ кокетничаніи, замолчатъ и потонуть въ неизвѣстности, понявъ прежде всего то требование этики, которымъ она говоритъ человѣку, что скромность—первая и главная отличительная черта всего «этическаго», что въ немъ все

должно дѣлаться для совѣсти, а не на показъ: *nil ad ostentationem, omnia ad conscientiam!*... Но пока они это поймутъ, пока они еще перейдуть въ эту высшую стадію своего развитія, толпа, между тѣмъ, глядя на нихъ, ждетъ отъ нихъ— «слушаетъ—поучается», воспринимаетъ всѣ крайности, перевариваетъ чудовищныя противорѣчія... За что же ей то на соблазнъ оставлять? И притомъ же, истина, которою обладаетъ или думаетъ обладать развивающіяся человѣкъ, вѣдь, и для него самого есть не болѣе, какъ истина «на часъ». Когда гр. Толстой, на свой вопросъ «что дѣлать?» отвѣчаетъ: «прежде всего не бояться истины, *куда бы она ни привела*», онъ забываетъ, что критеріемъ-то истины у него, вѣдь, является лишь искренность его собственного убѣжденія, его собственная познавательная потребность и жажда удовлетворить ее *сейчасъ-же*; что отъ насъ, стоящихъ въ сторонѣ и не принимающихъ участія въ этомъ удовлетвореніи, не можетъ быть утаено то, что ему, учителю, такъ же какъ и намъ, открыты также и всѣ пути заблужденія, что то, что казалось ему истиной, въ слѣдующій разъ таковою уже не будетъ представляться. Помнится, напр., какъ гр. Толстой доказывалъ въ своихъ «мысляхъ, вызванныхъ переписью», *зло денегъ*, опираясь, при этомъ, на евангельскую притчу о нищемъ Лазарѣ. Онъ былъ вполнѣ убѣженъ *тогда* (не знаемъ такъ ли думаетъ онъ *теперь*), что Лазарь, «не сдѣлавшій ничего хорошаго», *только потому* и спасся и оказался въ раю, что онъ былъ *нищій*. Стоило только тогда же напомнить гр. Толстому о томъ, что его Лазарь—нищій представленъ, вѣдь, въ раю на лонѣ Авраама-богата, что значитъ не бѣдность и не богатство сами по себѣ привели ихъ туда,—чтобы гр. Толстой, не сумѣвъ примирить этихъ противорѣчій, отказался бы, вѣроятно, или стала бы менѣе настойчиво поддерживать свою «истину». Ему показалось,

что богатому закрывается входъ въ царствіе небесное только потому, что онъ богатъ, что только въ *этомъ* смыслѣ надо понимать и слова, сказанныя И. Христомъ юношѣ, о томъ, что «легче верблюду и т. д.», тогда какъ И. Христосъ, навлекавшій даже на себя порицаніе отъ враговъ своихъ за то, что былъ другомъ мытарямъ и грѣшикамъ, людямъ, большую частью, богатымъ, И. Христосъ, сердцеведецъ и знахарь человѣческой природы, хотѣлъ этимъ объяснить лишь трудность внутренней борьбы человѣка съ своимъ эгоизмомъ, съ своими материальными, мелочными привязанностями на землѣ, а не то, что деньги сами по себѣ зло и не могутъ служить источникомъ добра и пользы при взглядѣ на нихъ болѣе просвѣщенномъ и человѣчномъ. И еще неизвѣстно, кто передъ Нимъ выше: бѣдный ли искушаемый страданіями и бѣдностью, или могучій и богатый, искушаемый своею властью, богатствомъ? Не даромъ еще La Rochefoucauld въ своихъ *Maximes* замѣтилъ, *qu'il faut de plus grandes vertus pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise.*

И вотъ такимъ то образомъ, вслѣдствіе указанныхъ крайностей, пропадаетъ, оставаясь безъ признанія и примѣненія, дѣйствительно высокая и положительная сторона ученія гр. Толстого (если не считать рѣдкихъ случаевъ крайнихъ его примѣненій, когда какой нибудь эксцентрикъ, по своему понявъ проповѣдь гр. Толстого, удаляется отъ міра, чтобы пахать, тачать сапоги и т. п., или того чисто анекдотического интереса, какой возбуждала и продолжаетъ еще возбуждать проповѣдническая дѣятельность автора «Войны и міра:» разговоры о хожденіи его пѣшкомъ изъ Москвы въ Тулу, о шитьѣ сапогъ и т. п.).

Спѣшимъ также оговориться, что употребляя слово «ученіе» мы разумѣемъ подъ нимъ общій смыслъ *всей* литературной дѣятельности гр. Толстого, а не догматическія

крайности позднейшихъ его писаній, не столько «ученіе» въ позднейшемъ, узкомъ его смыслѣ, сколько общій духъ всѣхъ произведеній всей литературно-художественной и проповѣднической, эстетической и этической дѣятельности его).

Чтобы трудностей и «наивностей», указанныхъ въ требованияхъ этого ученія было меныше, дѣло «исправленія» общества нужно начинать съ средней, не крайней истины, т. е. съ истины, не доведенной «до всѣхъ ея логическихъ послѣдствій», какъ хочется гр. Толстому, такъ какъ въ этомъ видѣ человѣчество можетъ воспринять ее лишь въ конечномъ результатаѣ своего прогрессивнаго движенія, лишь въ перспективѣ вѣковъ, какъ ріа *desirata* всѣхъ образовательныхъ стремлений и чаяній цивилизованнаго человѣчества. «Родъ человѣческій, говорилъ Фонтенель, устанавливается на истинномъ пути, только исчерпавъ предварительно всѣ ложные». Вѣдь для того только, чтобы успѣли уничтожиться невыгоды существующаго раздѣленія труда, для того только, чтобы каждый могъ, какъ гр. Толстой, «не боясь разойтись со всѣмъ окружающимъ и оставаться одному съ разумомъ и совѣстью», уйти на лоно природы и жить такъ, какъ совѣтуетъ гр. Толстой—нужны вѣка и вѣка, когда, можетъ быть, дѣйствительно, человѣчество пойметъ, что «ткать всю жизнь ситцы человѣку не должно», когда оно во всемъ своемъ составѣ, безъ исключеній, дойдетъ до материальной возможности «удовлетворять всѣмъ тѣмъ потребностямъ, и тѣлеснымъ, и душевнымъ, и совѣсти, и разума, которыя въ него вложены»...

А пока этого нѣть, мы можемъ только сказать:

Un jour tout sera bien, voila notre espérance

Tout est bien aujourd’hui voila l’illusion...

Сведенная къ своимъ пропорціямъ, эта «средняя» истина, выжатая изъ всей литературной дѣятельности гр. Тол-

стого и примѣнимая *сегодня*, и есть — проповѣдь этическихъ началъ въ жизни и дѣятельности человѣка, началъ этическаго долга.

Онъ самъ говорить въ статьѣ «о назначеніи искусствъ и наукъ»: «И понятно, почему дѣятели нынѣшней науки и искусства не исполняли и не могутъ исполнить своего «призванія»: они не исполняютъ его потому, что *они изъ обязанностей сдѣлали одни права...*» И далѣе: «...Дѣятельность научная и художественная, въ ся настоящемъ смыслъ, только тогда плодотворна и истинна, когда она не знаетъ правъ, а знаетъ одиѣ обязанности...» «Мыслитель и художникъ никогда не будутъ спокойно сидѣть на олимпийскихъ высотахъ, какъ мы привыкли воображать... Не тотъ будетъ мыслителемъ и художникомъ, кто воспитается въ заведеніи, гдѣ будто бы дѣлаются ученыхъ и художниковъ, и получить дипломъ, а тотъ, кто и радъ бы не мыслить и не выражать того, что заложено ему въ душу, но не можетъ не дѣлать того, къ чему влекутъ его двѣ непреодолимыя силы: внутренняя потребность и требованіе людей...» «...Духовная дѣятельность есть самое тяжелое призваніе человѣка,— крестъ, какъ выражено въ Евангеліи...» «...Да, дѣйствительно,— пора опомниться и оглянуться на себя. Вѣдь мы ничто иное, какъ книжники и фарисеи, сѣвшіе на сѣдалище Моисея, и взявши ключи отъ царства небеснаго, и сами не входящіе, и другихъ не выпускающіе...»! Гр. Толстой видитъ и указываетъ намъ на слабую сторону своей прежней дѣятельности — и въ то-же время на нашу общую слабость: мы обожаемъ себя — дурной признакъ! Писатели, мы, сидя на олимпийскихъ высотахъ, любуемся страницей только что конченной нами; художники, мы любуемся произведеніемъ только что вышедшимъ изъ подъ кисти нашей; ораторы, мы любуемся логическимъ построениемъ нашей рѣ-

чи, мы прислушиваемся къ благозвучію собственныхъ словъ, къ шумихъ своихъ фразъ... «Представителямъ наукъ и искусствъ—одно только дѣло: какъ бы сейчасъ сдѣлать чудо, создать что либо такое, чтобы всѣмъ стало ясно, что до нихъ не было и нѣть ничего подобнаго, никакой науки и никакого искусства...» (*ibid.*)

Присоединеніемъ *этическихъ* началъ къ своей дѣятельности, мы, однако, нисколько не измѣняемъ, не оставляемъ своей прежней дѣятельности, ся родъ и ея пользу въ условіяхъ требованій современной жизни и современнаго образованія нашего. Такъ, напр., въ дѣятельности нашей эстетической, въ служеніи искусству, какъ мы уже видѣли, эстетическое начало, при этомъ, не уничтожается, но принимаетъ лишь подчиненное положеніе, начинаетъ служить намъ *инымъ* лишь образомъ. Напрасно, поэтому, думаетъ гр. Толстой, что «содѣйствіе наше пароду можетъ начаться только тогда, когда люди науки и искусствъ будуть жить среди трудящихся людей въ тѣхъ же условіяхъ и такъ же какъ они...» Но вы, послѣ всего сказаннаго нами о гр. Толстомъ, уже догадались о причинѣ, заставившѣй его облечь свою мысль именно въ эту крайнюю, парадоксальную форму: онъ теперь—въ одномъ изъ своихъ *моментовъ*—въ моментъ увлеченія физическимъ трудомъ,—и потому, оставаясь вѣрнымъ своей привычкѣ «объективированія», объективируетъ и этотъ моментъ, обобщая требованія его на всѣхъ... Остальные роды труда для него—не трудъ даже, а парадъ, шутовство, обманъ: ученый, художникъ должны пахать, должны возить навозъ и т. п.!—и только тогда они, по мнѣнію гр. Толстого, будуть «честно кормиться»...

Мы же, сведя «крайность» гр. Толстого къ пропорціямъ ея и очистивъ ее отъ всего, что примѣщалось сюда личнаго, автобіографическаго—получимъ въ парадоксальномъ ея

требованій лишь то ея чистое ядро, которое, мы видѣли, есть—требование «присоединенія этическихъ началъ» къ человѣческой дѣятельности вообще. Но для гр. Толстого это требование недостаточно потому, что оно осложняется у него, какъ мы видѣли уже, еще личною потребностью «искупленія» своего прежняго «баловства», какой потребности, понятно, можетъ удовлетворить лишь тяжелый, суровый, «въ потѣ лица», физическій трудъ, которому бы можно было такъ хорошо, такъ рѣзко противопоставить «легкость» прежняго своего художественного творчества... мы, вѣдь, всегда такъ склонны бываемъ умалять значеніе того, что намъ дается легко, той сферы дѣятельности, гдѣ намъ успѣхъ не стоилъ почти ничего, и, наоборотъ, удесятерять несправедливо значеніе того рода дѣятельности, гдѣ этотъ успѣхъ не такъ-то легко и просто дается; а гр. Толстому художественное творчество легко давалось, какъ онъ самъ признается въ этомъ. Но уже въ силу сказанного,—вѣдь и для настоящаго работника «умственнаго» —трудно-физическій трудъ гр. Толстого съ его «четырьмя упражками» на дню, въ свою очередь, можетъ, пожалуй, показаться ни болѣе, ни менѣе, какъ тѣмъ же «баловствомъ», барскою затѣей, пріятнымъ режимомъ, а самъ проповѣдникъ представителемъ того же самого «параднаго» труда, какимъ онъ считаетъ трудъ «людей науки и искусствъ».

Такъ то легко и просто получаютъ свое объясненіе всѣ «крайности» въ ученіи гр. Толстого, сведенные на ту почву, съ которой мы рѣшили ихъ разматривать....

Повторяемъ, ученіе гр. Толстого имѣетъ свою примѣни-
мую положительную сторону, но ее приходится самому вы-
жимать изъ всей литературной дѣятельности его, сводя соб-
ственно «ученіе» его къ меньшимъ пропорціямъ, такъ какъ
въ немъ рѣшительно игнорируется «средній» человѣкъ, его

тоже законное желание и потребность разрешить загадку личной жизни, такъ какъ въ немъ поставленъ идеалъ, размѣры которого слишкомъ не соответствуютъ условіямъ и требованіямъ современной реальной жизни. За примѣромъ ходить не далеко. Въ статьѣ своей «Въ чёмъ счастье?», гр. Толстой даётъ сравнительную оценку: какая жизнь выше, лучше, разумнѣе—жизнь ли «по учению міра» или жизнь «по учению Христа». Въ такой формѣ выраженное подраздѣленіе это отзывается чѣмъ-то «не отъ міра сего» и всякому, кто пожелалъ бы, въ выборѣ своемъ, буквально следовать требованіямъ, во всѣхъ мелочахъ, начертанного гр. Толстымъ идеала, пришлось бы на первыхъ же порахъ встрѣтиться съ неизодолимыми трудностями. Между тѣмъ, какъ то же самое подраздѣленіе, но выраженное въ формѣ болѣе, такъ сказать, мірской, общедоступной и принаровленное къ требованіямъ идеала «средняго», не всеобъемлющаго,—относительного, но зато легко достижимаго и осуществимаго *сейчасъ*,—то-же подраздѣленіе сведется къ подраздѣленію на «жизнь этическую» и «жизнь эстетическую», соответственно двумъ различнымъ культурамъ или воззрѣніямъ на нее. *) И тогда, *положительной* стороною ученія гр. Толстого, какъ оно особенно рельефно выразилось въ его статьѣ «Въ чёмъ счастье?», окажется—указаніе на то, что *жизнь не можетъ иметь положительной ценности*, если цѣлью ея будетъ одно стремленіе къ *полнотѣ исключительно-индивидуального счастья*, если *условія послѣдняго будуть ставиться*

*) Девизъ эстетического воззрѣнія на жизнь: культъ красоты и наслажденій; слѣдуетъ наслаждаться жизнью; но условія этого наслажденія здѣсь ставятся или вѣнчаны индивидуума, или, если и въ немъ, то независящія отъ него лично (красота, талантъ).

Этическое воззрѣніе—культъ нравственности и долга; условія наслажденія въ самомъ индивидуумѣ. Настроение эстетика всегда экспрессионно, такъ какъ центръ его—въ периферіи (жизнь «минутой»); настроение этика всегда центрировано. (Определеніе, принадлежащее Серену Киркегору).

внѣ индивидуума, а не въ немъ самомъ, если жизнь будетъ строиться на однѣмъ стремлениіи къ внѣшнему прогрессу (успѣху) личности, иначе сказать; если проявленія индивидуальныхъ страстей и безграницной эгоистической конкуренціи съ ея «богомъ силы» и дарвиновой «борьбою за существование» будутъ братъ перевѣсь въ жизни надъ противоположными имъ этическими началами любви, солидарности, надъ тѣмъ, «чѣмъ люди живы»; если изъ этой жизни будутъ дѣлать то обыкновенное употребленіе, при которомъ человѣкъ до конца дней своихъ, въ какомъ-то чаду, гоняется за чѣмъ-то постороннимъ, внѣшнимъ, хлоочеть о богатствѣ, о блестящей и быстрой карьерѣ, о внѣшнихъ отличіяхъ, чинахъ, крестахъ и почестяхъ, о пустыхъ удовольствіяхъ и наслажденіяхъ, какъ будто желая, черезъ эту хлопотливость и суетливость достичнуть одного—забыть себѧ самого, уйти отъ себѧ; *) если въ своихъ повседневныхъ отношеніяхъ къ людямъ человѣкъ будетъ давать волю одерживать верхъ сторонѣ инстинктивной своей природы надъ стороною разумной; инстинктъ, какъ слѣпая, фатальная, центробѣжная сила человѣческаго сознанія, источникъ которой въ психической и физической основахъ низшаго порядка,—естественно склоненъ, переростая вызвавшую его по-

*) Левинъ у гр. Толстого является какъ бы живымъ олицетвореніемъ этой его собственной досады на человѣка, старающагося уйти отъ себѧ, отъ своего внутренняго міра (этическое). Тотъ же, хотя въ болѣе уступчивой фор-мѣ выраженный протестъ олицетворенъ, далѣе, въ Пьерѣ въ «Войнѣ и мирѣ». Устами его, гр. Толстой сравниваетъ людей нашего вѣка съ тѣми солдатами, о которыхъ разсказываются, какъ они на войнѣ, находясь подъ выстрѣлами въ прикрытии, стараются изыскать себѣ запятіе, дабы легче переносить опасность. «И Пьеру все люди представлялись такимъ солдатами, спасающимися отъ жизни (отъ ея истиннаго смысла), кто честолюбіемъ, кто картами, кто женщинами, кто лошадьми, кто охотой, кто политикой, кто воиною, кто государственными дѣлами...» Вотъ почему, послѣ вечера, у хорошихъ, добрыхъ и простыхъ Ростовыхъ, онъ же находилъ «неловкимъ» щѣхать въ клубъ: внутренняя жизнь его получила пещу, содержаніе... «Куда же можно щѣхать теперь?

требность, обращаться въ источникъ низкихъ побужденій, каковы чувства мести, «око за-око».

Говоря «ученіе» гр. Толстого, мы опять таки должны оговориться: въ данномъ случаѣ мы разумѣемъ отнюдь не надуманную какую либо философскую отвлеченную систему, а то, чтѣ, въ данномъ случаѣ, безконечно важнѣе для нась въ смыслѣ вліянія — *личный опытъ* гр. Толстого, на который онъ постоянно и ссылается, предлагая жить «по учению міра» (эстетически) или «по учению Христа» (этически). Когда онъ говоритъ намъ, что онъ личнымъ опытомъ пришелъ къ тому, что такая то жизнь лучше, лучше и разумнѣе,—мы вѣримъ ему, потому что кому же и вѣрить намъ, какъ не ему, потому что онъ сейчасъ же ссылается намъ на свою прежнюю жизнь: «Въ своей, говоритъ онъ, исключительно счастливой въ мірскомъ смыслѣ жизни (переводи: при прежнемъ своёмъ исключительно эстетическомъ воззрѣніи на жизнь) я наберу страданій, понесенныхъ мною во имя учения міра столько, что ихъ достало бы на хорошаго мученика во имя Христа». Когда онъ говоритъ: «разсуждая отвлеченно, положеніе учениковъ Христа (т. е. живущихъ этически) должно быть *выгоднѣе* положенія учениковъ міра (живущихъ эстетически)», — мы вѣримъ ему, потому что

Неужели въ клубѣ? Все это казалось Пьеру такъ жалко, такъ бѣдно въ сравненіи съ тѣмъ чувствомъ... и т. д. «Домой, сказалъ Пьеръ». То же самое (въ «Аннѣ Карениной»), какъ вы помните, испыталъ Вронскій послѣ вечера, проведенного тоже у «хорошихъ и добрыхъ» Щербатыхъ: онъ перебралъ всѣ мысли, куда можно было еще побѣхать, но все это показалось ему теперь гадко и онъ предпочелъ свой № у Дюссо. «Таковъ человѣкъ — говорилъ Паскаль: онъ скучаетъ безо всякой причины, по одному собственному расположению, а съ другой стороны, пмъя передъ носомъ тысячи существенныхъ причинъ скучать — утѣшаются бездѣлкою: отсюда страсть къ картамъ... не прибыль манитъ здѣсь, а та хлопотливость, что отвлекаетъ насть отъ мысли о насть же самихъ... Иной безъ скучки проводитъ всю жизнь, играя каждый день «по маленькой». Давайте же ему всякій день тѣ деньги, которыя онъ могъ бы, выиграть.—только съ условіемъ *не играть*—онъ придетъ въ отчаяніе!» («Pensées»).

кому же больше и върить какъ не ему, этому опытному ех-эстетику, пережившему до пресыщенія всю полноту возможнаго человѣку на землѣ индивидуальнаго счастья, знающему заплаченную за него цѣну, дошедшему уже до понятія *выгоды* противоположнаго на жизнь воззрѣнія... «Свобода, независимость, деньги, имѣніе, здоровье, сила, талантъ, слава, семейное счастье...» все эстетически исчерпано, все пережито... надоѣль «божокъ»: «Надо, говорить у Гаршина самоубийца, *) надо вырвать изъ сердца этого сквернаго божка, уродца съ огромнымъ брюхомъ, это отвратительное Я, которое, какъ глистъ сосеть душу и требуетъ себѣ все новой пищи. Да откуда же я ее возьму? Ты уже все съѣлъ. Всѣ силы, все время были посвящены на служеніе тебѣ. То я кормилъ тебя, то поклонялся тебѣ; хоть ненавидѣлъ тебя, а все таки поклонялся, принося тебѣ въ жертву все хорошее, что мнѣ было дано!...»

Онъ уже дошелъ до того кульминаціоннаго пункта въ своемъ *счастїи* «по учению міра», съ котораго—ifl обойдется какъ нибудь безъ болѣе печальнаго исхода—неизбѣжно должна начаться или *Нирвана*, или реакція къ противоположному — до осязательности противоположному воззрѣнію на жизнь: «возненавидѣть себя, забывать себя, не думать о себѣ, любить другихъ, жить для другихъ—это одно средство, чтобы жить и понимать жизнь, любить ее и считать ее добромъ» («Исповѣдь»). Такъ-то оправдались слова апостола: *все минется, одна любовь останется...* И на нее стоитъ еще излить остатокъ жизни: онъ сознаеть, какъ и Гаршинскій самоубийца, что его «узкій миръ» его измучилъ, что *выгоднѣе* мучиться общимъ горемъ, чѣмъ «въ одиночку»... И мы вѣримъ, что дѣйствительно «выгоднѣе», такъ какъ мы сами хорошо видимъ, видимъ во-очію то, что происходитъ

*) «Ночь».

вокругъ настъ: «...Всѣ эти *счастливцы*, безъ исключенія, почти всѣ одержимы нервными, желудочными и половыми болѣзнями... Переберите ихъ смерти: кто застрѣлился, кто съ ума сошелъ, кто скончалъ отъ сифилиса. Одинъ за другимъ они гибнутъ во имя ученія міра. И мы лѣземъ за ними и, какъ мученики, ищемъ сами тѣхъ же страданій и гибели. Одна жизнь за другую бросается подъ колесницу этого бога: колесница проѣзжаетъ, раздирая ихъ жизни, и новые, и новые жертвы, со стенами, воинами и проклятіями валятся подъ нее.» (*Вѣ че мѣ сч?*)

VII.

Теперь мы можемъ перейти къ разсмотрѣнію пути, какимъ шло «обрѣтеніе» гр. Толстого «себя самого» въ этическомъ смыслѣ, иначе сказать,—процесса, коимъ постепенно для него «выяснялась, упрощалась, переходила въ дѣло» нравственная истина,—къ ознакомленію съ героями его произведеній, по скольку въ нихъ наглядно отразилось различіе двухъ воззрѣній на жизнь, по скольку въ нихъ самихъ воплощены борьба и процессъ постепенного выясненія двухъ началъ въ развитіи личности—этическаго и эстетического, различіе которыхъ еще лучше и виднѣе станетъ читателю отъ этого ознакомленія. Въ этомъ смыслѣ, для насъ всѣ произведенія гр. Толстого—полная исторія его собственного этическаго развитія, законченная картина этой внутренней работы, въ отдѣльныхъ стадіяхъ которой мы можемъ подсмотрѣть и самій процессъ этой работы, ея ходъ—opus operans этого развитія; каждый отдѣльный герой гр. Толстого, въ этомъ смыслѣ, какъ бы олицетворенная творческая попытка самого автора, nisus formativus его воли, отдѣльныхъ созидающихъ попытокъ и усилий ея...

При разсмотрѣніи отдѣльныхъ героевъ гр. Толстого мы должны слѣдовать той же относительной оцѣнкѣ, такъ же

принимать въ разсчетъ ихъ среду, воспитаніе, окружающія людей, обстановку, какъ мы дѣлали это относительно оцѣнки значенія переворота въ гр. Толстомъ. Вѣдь съ иной точки зрењія разматриваѣмые, съ точки зрењія тѣхъ же усилий ихъ вырваться, стоя въ данныхъ условіяхъ среды, изъ душной атмосферы привитыхъ имъ воспитаніемъ понятій и привычекъ, они могутъ, въ извѣстномъ смыслѣ, оказаться, пожалуй, и «положительными» типами, появленіе исподоволькоихъ можетъ лишь освѣжать, оздоровлять затхлую атмосферу великосвѣтскихъ семей. Гр. Толстой изобразилъ ихъ только правдиво оттого они и вышли *для насъ* типами «отрицательными»; но для автора каждый изъ нихъ, вѣдь, новая ступень *къ Левину*, къ тому образу простаго, искренняго и правдиваго культурнаго человѣка, о поискахъ котораго выкрикиваетъ каждая строка его произведеній, произведеній, бросившихъ цивилизованныму миру могучую и сложную загадку: какимъ образомъ субъективный факторъ чисто *этическаго* свойства—стремленіе къ нравственному идеалу совершенства самого художника, въ то же время даетъ могучий толчекъ величавому *эстетическому* творческому движенію, служа ему какъ *grâce prémouvante*,—какъ-бы факторомъ, *подготавлиющимъ* это движеніе. Кавелинъ, въ «Задачахъ этики», лишь слегка намекнулъ на ту будто бы замѣченную въ послѣднее время параллель, какая существуетъ между быстро увеличивающимся числомъ препебрегающихъ субъективными этическими идеалами лицъ съ одной стороны,—и оскудѣнiemъ выдающихся талантовъ, упадкомъ творческихъ способностей въ Европѣ и у насъ,—съ другой. «Кого мы теперь большею частью встрѣчаемъ: скульпторовъ?—нѣть; фабрикантовъ статуй, живописцевъ?—нѣть; фабрикантовъ картинъ, музыкантовъ?—также нѣть; фабрикантовъ звуковъ?

Вездѣ одни только ремесленники, и нѣтъ творцевъ!... Относительно поэзіи тоже оправдываются, кажется, слѣдующія слова Гете: «скоро будетъ поэзія безъ поэзіи,— настоящіи поэтъ, гдѣ все будетъ заключаться єн поэтъ,— въ дѣланіи: это будетъ мануфактурная поэзія...»

Признайте же, что вопросъ «объ отношеніяхъ эстетическихъ и этическихъ началъ въ развитии таланта», затронутый нами, стоитъ того, чтобы имъ серьезнѣе подanziаться!.. Есть, кажется, большая доля истины въ томъ, что говорить гр. Толстой о нравственныхъ началахъ (въ XII томѣ). «Только кажется, что человѣчество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно дѣло только для него важно и одно только дѣло оно дѣлаетъ: оно уясняетъ себѣ тѣ *нравственные* законы, которыми оно живеть»... Дѣйствительно, пора согласиться съ тѣмъ, что если по мѣрѣ усилій «цивилизациі» совершенствуются, уточчаются и нравственные понятія, то это только оптическій обманъ, такъ какъ самая цивилизация и есть продуктъ совершенствующейся нравственности! Искусство и талантъ не составляютъ исключения. И здѣсь—разгадка всемирнаго успѣха произведеній гр. Толстого....

Мы сказали, что при оцѣнкѣ героеvъ гр. Толстого мы должны обращать вниманіе на отдельныя усилия ихъ вырваться изъ области эстетического воззрѣнія на жизнь. Но такъ какъ процессъ постепенного разрыва съ «эстетическимъ» въ этихъ герояхъ есть въ то же время процессъ «обрѣтенія» гр. Толстого «самого себя» въ этическомъ смыслѣ, процессъ, при которомъ онъ дѣлается *самимъ собою*, то, поэтому, разматривая проходящую красною питью во всѣхъ герояхъ гр. Толстого борьбу эстетическихъ началъ ихъ натуры (прибитыхъ ложнымъ воспитаніемъ) съ врожденными имъ началами этическими, мы тѣмъ са-

мымъ выясняемъ и истинную нравственную физиономію ихъ автора,—то, *кѣ чemu* онъ былъ рожденъ, въ чемъ дѣйствительно было его призваніе и что постоянно мѣшало ему выполнять его, уносило его отъ роднаго ему берега,—отъ той его Итали, мимо которой ему лишь, какъ древнему Улиссу, суждено было цѣлые годы плавать, не узнавая ея, будучи постоянно уносимъ отъ нея вихремъ свѣтской, эстетической («по ученію міра») жизни...

Гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ ВЪ ГЕРОЯХЪ СВОИХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ.

Коля Иртеньевъ.

... „Со мною случился переворотъ, зачатки которого во мнѣ въ сего дѣ были... Люди, которые почти всѣ безъ исключенія живутъ не вѣрой, не идеей добра, а страстями и силой, встрѣчали меня презрѣніемъ и насмѣшкой каждый разъ, какъ я, высказывая свои задушевныя желанія, хотѣть стать нравственно-чистымъ, и, наоборотъ, хвалили и поощряли всегда, какъ только я предавался страстямъ. Честолюбіе, властолюбіе, гордость, гибель, месть,—всѣ эти проявленія индивидуальной силы увлекались людьми, и я, прояляя для ихъ, становился похожъ на другіхъ взрослыхъ людей и этимъ вызывалъ въ нихъ одобрение“.

(«Исповѣдь»).

Общая скобка, за которую можно поставить всѣхъ героевъ гр. Толстаго, это—внутренний разладъ, *двойственность* нравственной натуры ихъ, источникъ которыхъ—въ постоянной борьбѣ, происходящей въ нихъ между двумя невыясненными ими еще хорошо началами, заложенными имъ въ душу,—враждебнымъ началомъ этическимъ и усвоеннымъ извѣнѣ-эстетическимъ.*.) Отсюда—ихъ безхарактерность, шатанія, чудачество, отсутствіе согласія съ самимъ собою, зависѣть къ чужой «цѣльности» и непосредственности,—и вы увидите, что Левинъ, въ этомъ смыслѣ, можетъ быть еще разсматриваемъ какъ самый «цѣльный» изъ нихъ, наиболѣе примиренный, завоевавший или завоевывающій себѣ эту цѣльность и согласіе съ самимъ собой. Взятый отропомъ, юно-

*) Читатель не долженъ упускать изъ виду главную нашу задачу за каждымъ отдѣльнымъ героемъ гр. Толстого усматривать самого автора и скрытую въ нихъ борьбу двухъ началъ, составляющихъ содержаніе всѣхъ первиннѣй душевной драмы гр. Толстого и его нравственнаго развитія.

шай, Левинъ, это—Коля Иртеньевъ. Ребенокъ,—онъ уже подъ бременемъ этого разлада, сомнѣній и уже теперь за-видуетъ «цѣльности» и характерамъ. Раздвоенность въ немъ почти съ рожденія и постоянно поддерживается массою не-здоровыхъ условій семейной жизни; она могла бы быть, легче всего, объяснена унаслѣдованіемъ противу положенныхъ началъ отца и матери. Здѣсь передъ нами одна изъ тѣхъ искусственныхъ семей «спаекъ», которыхъ такъ часто уже рисо-валъ передъ нами гр. Толстой, изображая жизнь великосвѣт-скаго круга, и которую вносялъ въ «Аннѣ Керениной» онъ еще рельефнѣе и лучше воспроизвелъ въ четѣ Облон-скихъ—Стивы и Доли. Въ «Дѣтствѣ» эта чета представлена лишь въ миниатюрѣ, сохранивъ, однако, все сходство въ распредѣленіи ролей жертвы и палача. Грустную исторію молодаго сердца нарисовалъ гр. Толстой въ своей повѣсти, исторію, къ сожалѣнію, нерѣдкую въ нашихъ дѣтяхъ, *des enfants de bonne maison*, въ нашихъ великосвѣтскихъ семье-яхъ въ особенности, въ тряпичномъ царствѣ великосвѣт-скихъ львовъ и львицъ, франтовъ и франтихъ, въ этомъ особомъ «мірѣ безъ привязанностей, безъ дѣтей, безъ нянекъ, безъ колыбелей, безъ домашнихъ очаговъ, безъ мужей и безъ женъ, а только съ одними мужчинами и женщинами», гдѣ все, на видъ, такъ «эстетично», такъ чинно и благо-устроено, такъ шито-крыто... Одной матери (образъ ко-торой такъ симпатично нарисованъ гр. Толстымъ) своей герой нашъ обязанъ еще своими добрыми качествами,—тѣмъ врож-деннымъ его натурѣ началомъ, которое мы будемъ всегда вносялъ въ немъ, называя его «этичес-кимъ» началомъ его натуры, въ отличие отъ гибельнаго, привитаго ему отцемъ, гувернерами, обществомъ—эстетичес-каго. И вотъ, пока мать жива, пока связь героя нашего съ этою любящею и несчастной женщиною не порвана,—и

начало доброе это живо въ душѣ его, но стоило ей умереть,— и скитанія нашего героя, безъ руля, безъ компаса, начнутся, и откроется въ душе его борьба двухъ ся началь и будеть вестись до преклонныхъ лѣтъ, то одно одерживая верхъ, то другое, и до тѣхъ поръ будеть продолжаться это безцѣльное скитаніе, это шатаніе, пока волнами самой жизни не выбросить его на родной берегъ, Итаку героя нашего, который уже изъ Коли Иртеньева превратится въ Левина...

Отца своего герой нашъ рисуетъ такими красками: «двѣ главныя страсти его жизни были карты и женщины; онъ выигрывалъ въ продолженіи своей жизни нѣсколько миллионовъ и имѣлъ связь съ безчисленнымъ числомъ женщинъ всѣхъ сословій...»

Онъ всегда водился съ людьми большаго свѣта,—блестящія связи были его конекъ... Онъ былъ знатокъ всѣхъ вещей, доставляющихъ удобство и наслажденія,—и умѣлъ пользоваться ими... Главною заботой его, когда сыновья его подросли, было не столько нравственность и образованіе, сколько свѣтскія отношенія, внѣшній успѣхъ въ жизни... А такъ какъ герой нашъ, сравнительно съ старшимъ братомъ, мало способенъ былъ къ свѣтской пустой жизни, то и любилъ его отецъ, какъ видно, менѣе Володи... Когда Иртеньевъ-студентъ удачно сдалъ университетскіе экзамены, «папа», направляя сыча съ визитами, собственноручно писалъ на клочкѣ бумажки къ свѣдѣнію его: 1) къ князю Ивану Ив. *непремѣнно*; 2) къ Ивинымъ *непремѣнно*; 3) къ княгинѣ Нехлюдовѣ, ежели успѣешь, и т. д. А когда герой нашъ, на домашнемъ балу, сбился гдѣ-то въ мазуркѣ съ «большой» дамой, отецъ съ презрѣніемъ и грубо оттолкнулъ его, бросившись самъ, съ легкостью военного человѣка, выручать большую даму...

«Вотъ будь тутъ мамаша, она бы не покраснѣла за своего Николиньку», думалъ герой нашъ въ это время... Но «папа» рѣшительно нѣтъ дѣла до его сердца и душевныхъ мукъ. Онъ имѣеть всѣ основанія быть имъ недовольнымъ съ своей свѣтской, а не родительской точки зрењія: сынъ его не красивъ (такъ какъ имѣеть широкій носъ), неловокъ, мало дѣлаетъ успѣховъ въ свѣтѣ, сосредоточенъ, осрамился въ мазуркѣ...

Но вотъ не стало и матери: любящая до конца женщина унесла съ собою въ могилу тайну своей разбитой жизни! Незадолго до кончины ея «папа» увѣрилъ ее, что дѣтей нужно везти въ Москву, дабы они могли «привыкать къ свѣту», а ей одной, съ глупой гувернанткой, оставаться въ деревнѣ,— и она повѣрила, какъ вѣрила ему во всемъ, что онъ ни говорилъ и ни дѣлалъ. На самомъ дѣлѣ эта отъ переѣздѣ бывть просто на руку отцу, чтобы ему жить здѣсь одному, шляться по клубамъ, по обѣдамъ и Богъ знаетъ что дѣлать... Смерть жены теперь окончательно развязывала ему руки. Оставшись теперь уже совсѣмъ сиротою, безъ всякой поддержки, гр. Толстой, устами своего героя, самъ говорить, какъ «чѣмъ дальше подвигается онъ въ описаніи этой поры его жизни, тѣмъ тѣжелѣ и труднѣе становится оно ему».

Рѣдко, рѣдко между воспоминаніями объ этомъ времени находить сіль минуты истиннаго теплаго чувства, которое такъ ярко освѣщало и согрѣвало начало его жизни... Бѣдное, любящее сердце ребенка не остывшее еще отъ материнскихъ ласкъ, оторванное отъ источника своего и не получая пищи извнѣ, кромѣ холоднаго или грубаго обращенія и уколовъ самолюбію, платило тою же монетою: герой нашъ спрягался *въ себя*. За то вѣнчая «шлифовка» дѣлала свое дѣло: онъ любилъ своего доброго «дядьку», нѣмца Карла Ивановича, и находилъ даже его, въ его срмолкѣ, кра-

савцемъ, такъ какъ «красота эта свѣтилась въ его добрыхъ глазахъ»—а воспитатели его находятъ уже, что пора бы нанять для него гувернера, а не «дядьку, нѣмецкаго мужика»—и Карлъ Ивановичъ прогоняется, замѣняясь St. Jérôme'омъ. St. Jérôme, по крайней мѣрѣ,—gouverneur, который пойметъ, «какъ нужно вести des enfants de bonne maison»... А что такое, на самомъ дѣлѣ, этотъ St. Jérôme, замѣнившій *мужику* Карла Ивановича? St. Jérôme—молодой щеголь-французъ, но французъ въ высшей степени легкомысленный, тщеславный, эгоистъ, грубый, жестокій, дерзкій, невѣжественный до самоувѣренности. Интересовался онъ нестолько вѣрными его испеченію дѣтьми, сколько своими видными, мускулистыми погами, которыми онъ особенно дорожилъ, считая дѣйствіе ихъ «неотразимымъ въ отношеніи особъ женскаго пола»... И вотъ, этому-то шелопаю-волокитѣ вѣряется уходъ за *думою* ребенка, душою столь чуткою и отзывчивою ко всякому добру, какъ у нашего героя! «И Карлъ Ивановичъ, бывало, разсердившись, говорилъ «кукольна комедія», «шалунья мальчикъ», ставилъ на колѣни, но видно было, когда онъ наказывалъ, что онъ считалъ это хотя необходимою, но непріятною обязанностью... St. Jérôme, напротивъ, называлъ mauvais sujet, vilain garnement и т. п. названіями, *оскорблевшими* самолюбіе; ставя на колѣни—выпрамляя свою грудь и дѣлая величественный жестъ рукой, трагическимъ голосомъ кричалъ: «à genoux, tâchais sujet!», при чемъ приказывалъ становиться лицемъ къ себѣ и просить прощенія; наказаніе состояло въ униженіи...» Пенаходя участія и ласки даже отъ роднаго отца, анализирующій умъ его задаетъ себѣ вопросы о томъ, что должна же быть причина общей нелюбви къ нему, какъ онъ думалъ; положеніе было тѣмъ тяжелѣе для него, что онъ, какъ мы сказали уже, «спрятался въ себя», но затаен-

ность всего его существа не мѣшала прорываться, подъ часъ, необычными для дѣтскаго возраста душевными параксизмами, рядомъ выходокъ и экцентричностей, шедшихъ *на зло*, въ разрѣзъ съ его обыкновеннымъ тихимъ и кроткимъ видомъ, какъ вырвавшійся несдержанній протестъ успѣвшихъ, за долгое время, накопиться въ душѣ его чувствъ: «оставьте меня, всѣ вы никто не любите меня, непонимаете какъ я несчастливъ! Всѣ вы гадки, отвратительны», — кричалъ онъ съ какимъ то изступленіемъ, обращаясь ко всему обществу, въ сценѣ съ St. Jérôme'омъ. Или, придетъ ему вдругъ въ голову дикая, но вполнѣ естественная въ его положеніи мысль, что онъ должно быть не сынъ своего отца, и вотъ онъ уже воображаетъ себѣ то сцену, какъ онъ приходитъ къ отцу и говорить ему: «отецъ, напрасно ты скрываешь тайну моего рожденія: я ее знаю...», то будто онъ умеръ и душа его носится по всѣмъ комнатаамъ дома и подслушиваетъ какъ о немъ сожалѣютъ, какъ говорятъ: «онъ славный былъ мальчикъ», а на папа, обращаясь къ St. Jérôme'у: «*вы* были причиной его смерти, онъ не могъ перенести униженія... воинъ отсюда, злодѣй!...» и т. п. въ томъ же родѣ. Чѣмъ касается ума, то и этотъ, не находя себѣ тоже пищи извнѣ, бросился пожирать самого себя, ребенокъ получаетъ склонность къ постоянному анализу и сосредоточенности въ самомъ себѣ, задаетъ себѣ различные чисто-отвлеченные вопросы, при чемъ слабый умъ, безсильный разрѣшить эти вопросы, въ непосильномъ труде, терялъ одно за другимъ убѣжденія, которыхъ, для счастья его жизни, не сlijдало бы затрогивать. «Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мнѣ силу воли (начало «безхарактерности»), уничтожившей свѣжесть чувствъ и ясность разсудка.»

Какого же рода были эти «моральные вопросы», которые занимали нашего героя? Помогали ли они нравственному выяснению ему самого себя или такъ только и оставались висѣть на воздухѣ безъ примѣненія? Вопросы эти были тѣ самые, которые нашъ герой задавалъ себѣ и впослѣдствіи, задавалъ всю жизнь, измѣняясь самъ лишь подъ тѣмъ и другимъ именемъ у гр. Толстого. Другой вопросъ, насколько они перерабатывались въ плоть и кровь, насколько они доходили до той грани, гдѣ моральный порывъ становится дѣломъ, гдѣ принципъ сливается съ внутренней потребностью души, исчезаетъ въ ней... Обстановка и условія окружавшія героя нашего были не таковы, чтобы особенно благопріятствовать внутреннимъ вопросамъ морального свойства; поэтому, какъ бы искренно и настойчиво не просились они въ душу героя нашего, первое же столкновеніе съ окружающими лицами, должно было опрокинуть всю карточную работу; какъ бы ни старался Иртеньевъ разрѣшить для себя дилемму человѣческаго счастья, вопросы любви къ людямъ и нравственного самосовершенствованія,—дѣйствительность, въ лицѣ бабушки, отца, княгини Корнаковой, князя Ивана Ив., Ивиныхъ, въ лицѣ его домашнихъ сверстниковъ и старшихъ—опрокидывала эту возвышенную чепуху, ставя надъ грудою искусственою вопросовъ этическаго свойства—своего «Бога силы» —внѣшняго успѣха, свѣтскихъ связей, наружного блеска, красоты... Ничего нѣть, поэтому, мудренаго, если «вопросы морального свойства» и «возвышенная чепуха» такъ часто бываютъ склонны у нашего будущаго Левина, смыняться чисто практическими заботами о своей наружности, сѣтованіями на то, что «нѣть счастья на землѣ для человѣка съ такимъ широкимъ носомъ, толстыми губами и маленькими сѣрыми глазами», какъ у него,—и онъ просилъ Бога: «сдѣлать чудо, превратить меня въ красавца,

и все, что я имѣлъ въ настоящемъ, все, что могъ имѣть въ будущемъ, я все отдалъ бы за красивое лицо!» Раньше же, при жизни матери, онъ, какъ говорилъ самъ, считалъ, Карла Ивановича «первымъ красавцемъ въ мірѣ»... Что это, какъ не *развратъ* семейныхъ началь и понятій, когда считаются возможнымъ, въ присутствіи ребенка разбирать его наружность, даютъ ему понять, что онъ дуренъ—и онъ на самомъ дѣлѣ начинаетъ, приходя въ отчаяніе, вѣрить слѣпо, что дѣйствительно «нѣтъ счастья на землѣ человѣку съ маленькими сѣрыми глазами»! Все это, на видъ, мелочи,—таковыми они и у автора представлены, въ числѣ многихъ другихъ его неважныхъ воспоминаній, но мы попросили бы читателя только представить себѣ, вспомнивъ выставленный къ этой главѣ эпиграфъ изъ «Исповѣди» гр. Толстого, сколько должно было быть такихъ *мелочей*, чтобы составить ту стихійную силу, которая постоянно должна была упосѣтъ *Итаки* коллективнаго героя гр. Толстого!... Не вина была героя нашего, если ему такъ настойчиво не везло съ «вопросами» его, съ развитіемъ въ себѣ этическихъ началь, когда онъ былъ въ тискахъ этой душной свѣтской атмосфѣры, этого исключительно-эстетического духа, наружнаго лишь воспитанія,—если развитію этому, на всю жизнь, суждено было испытать ту двойственность, колебанія и шатанія изъ стороны въ сторону, которая обусловливались раздвоенностью въ самой натурѣ его! Отнынѣ, красною нитью, пройдеть черезъ всю его жизнь и жизнь послѣдующихъ героевъ борьба этихъ двухъ началь—прирожденного ему внутренняго материнскаго, и привитаго ложнаго воспитаніемъ и средою—наружнаго-эстетического. Отрочество смѣнится юностью. По прежнему нашъ герой будетъ одновременно-- и сокрушаться о своей наружности, и дѣлать, удачные или неудачные попытки къ внѣшнему успѣху въ свѣтѣ, и стремиться къ

нравственному совершенствованию, смѣшивая все это въ одну общую кучу и не различая идеаловъ этическихъ отъ эстетическихъ:

„Я старался совершенствовать себя. Совершенствовать свою волю, составлять себѣ правила, совершенствовать себя физически, всякими упражненіями, изощря силу и ловкость... Началомъ всего было, разумѣется (Sic!) нравственное самосовершенствованіе; но скоро оно подмѣнилось желаніемъ быть лучше не передъ самимъ собою или Богомъ (атич.), а передъ другими людьми. (эстетич.) И очень скоро это стремленіе быть лучше передъ людьми подмѣнилось желаніемъ быть сильнѣе другихъ. Гадко вспомнить даже объ этомъ...“
(«Исповѣдь»).

«Разъ мнѣ пришла мысль,—говоритъ нашъ герой, въ своемъ «отрочествѣ»,—что счастье независитъ отъ виѣшнихъ причинъ, а отъ нашего отношенія къ нимъ, что человѣкъ, привыкшій переносить страданія, не можетъ быть несчастливъ ..» (не правда-ли, что мысль эта (чисто этическаго свойства) могла бы сдѣлать честь не только Пьеру или Левину, но и самому XII-му тому гр. Т.?*) Въ другой разъ, за то, вспомнивъ, что смерть ожидаетъ его каждый

*) «Онъ (Пьеръ) узналъ, что счастье въ немъ самомъ... Онъ узналъ, что какъ нѣтъ на свѣтѣ положенія, въ которомъ бы человѣкъ былъ вполнѣ счастливъ, такъ нѣтъ и положенія, въ которомъ бы онъ былъ вполнѣ несчастливъ; что тотъ человѣкъ, который страдалъ отъ того, что въ розовой постели его завернулся одинъ листокъ, точно такъ же страдалъ, какъ страдалъ онъ самъ теперь, засыпая на голой сырой землѣ; что когда онъ, бывало, надѣвалъ свои бальныя узкіе и жавшие ему ногу башмаки, онъ точно также страдалъ, какъ и теперь, когда онъ ишелъ уже совсѣмъ босой (съ плѣнными) ногами, покрытыми болѣчками...» («Война и міръ»). «...Если-бы я вдумался въ свою жизнь и жизнь людей нашего круга, я бы увидѣлъ тогда, что между тѣми (обитателями «Ржановской крѣпости») и другими нѣтъ разницы. Живущіе въ своихъ домахъ на Дмитровкѣ и на Сивцевомъ Вражкѣ Ѣдятъ, правда, не одну селедку съ хлѣбомъ и печенку, но это не мѣшаетъ имъ быть точно такими же несчастными... Несчастіе тѣхъ и другихъ непоправимо виѣшними средствами: они ни въ какомъ положеніи не могутъ быть счастливы, если взглянуть ихъ на жизнь останется тотъ-же...» «Несчастіе послѣднихъ (обитателей Ржанов.) было не во виѣшнихъ условіяхъ, а въ нихъ самихъ—несчастье такое, которое нельзя поправить какой бы то ни было бумажкой.» (XII томъ: «Мысли вызваныя переписью»).

часть, каждую минуту, онъ рѣшилъ, что «человѣкъ не можетъ быть иначе счастливъ, какъ пользуясь настоящимъ и не помышляя о будущемъ»—и онъ, вѣрный своему (*эстетическому* на этотъ разъ), возврѣнію на жизнь, для три, подъ вліяніемъ этой мысли, бросивъ уроки, занимался только тѣмъ, что «лежа на постели, наслаждался юношескими пранниками съ кроновскимъ медомъ и чтеніемъ романовъ...» Или, то, вдругъ, покажется ему, что «красота, добродѣтель и счастье одно и тоже, что какъ то, такъ и другое легко и возможно для него, что одно не можетъ быть безъ другаго», то, начавъ, напр., мечтать о томъ, какъ онъ изъ *блѣнѣющей*, которую будетъ получать отъ отца, непремѣнно два съ полтиной будетъ отдавать бѣднымъ и такъ, чтобы никто не зналъ, какъ онъ въ точности будетъ исполнять «все» разумной, нравственной, безупречной жизни,—онъ, незамѣтно для себя, кончаетъ тѣмъ, какъ онъ «сдѣлался первымъ ученымъ въ Россіи... Даже въ Европѣ я могу быть первымъ ученымъ», но тутъ же называется это «гордостью, грѣхомъ» и возвращается опять къ началу... но незамѣтно опять «сползаетъ» на «эстетическое»: «совершенствуетъ» уже себя такъ, что будетъ... *сильнѣе* самого Раппо: «первый день я буду держать полууда вытянутою рукой пять минутъ, на другой день 21 ф., на 3-й 22 ф. и т. д.» Потомъ онъ «вдругъ» схватываетъ кого-то «непочтительно отозвавшагося о немъ— такъ, просто за грудь, подниму этакъ аршина на два отъ земли одною рукой и только подержу, чтобы почувствовалъ мою силу, и оставлю... Но, впрочемъ, и это нехорошо!»

Въ такомъ родѣ и всѣ мечтанія нашего героя объ «усовершенствованіяхъ»... Видно только, что потребность развитія непреоборимо живеть въ его душѣ, но, при всемъ томъ умѣніе различить нужный и потребный ему идеалъ

изъ массы представляющихъ ему (и сводящихъ всѣ къ двумъ указаннымъ нами)—ему еще не дается: онъ постоянно смыкаетъ, почти отождествляетъ ихъ; при самой исключительной, для его возраста, сосредоточенности въ себѣ, заставляющей его до малѣйшихъ потребностей участвовать въ своей внутренней психической жизни,—истинное этическое чувство: *σεαυτον* ему все таки не дается!...

Здѣсь все характерно: и безразличе съ которымъ свалены въ одну общую кучу такие идеалы совершенства, какъ религіозные и гимнастические, и постоянство, съ которымъ чередуются въ немъ одно за другимъ, начала этическое и эстетическое, и самая, наконецъ, эта удивительная въ немъ способность, не будучи самъ чѣмъ либо опредѣленнымъ, примѣривать къ себѣ, или себя примѣривать то къ одному, то къ другому идеалу совершенства, пезная, чѣмъ лучше, чѣмъ красивѣе быть; читая, напр., романы, онъ находитъ въ себѣ самомъ всѣ описываемыя страсти, сходство со всѣми героями, со всякими характерами, лишь бы они были «цѣльными»: ему нравилось именно то въ нихъ, чего недоставало ему самому—что тамъ—«добрый, такъ ужь добрый; злой, такъ ужь совсѣмъ злой—именно такъ, какъ онъ воображалъ себѣ и любилъ людей...»

Говоря о чувствахъ своихъ, бывшихъ предметомъ его мечтаній въ ту пору, онъ говоритъ, что онъ въ особенности желалъ, чтобы его всѣ знали и любили: «мнѣ хотѣлось сказать свое имя: Николай Иртеньевъ, и чтобы всѣ были поражены этимъ извѣстіемъ, обступили меня и благодарили за что нибудь!...» Желаніе это—чисто эстетическое и опокультивируется въ цѣломъ поколѣніи героевъ гр. Толстого, переходя отъ одного къ другому. Перечитывая послѣдній разъ «Войну и міръ», мы, совершенно случайно, добравшись до Эпилога романа, на который, признаться, не обращали

раньше вниманія, поражены были вѣрнотью фамильного сходства, съ какою гр. Толстой изображаетъ портреты своихъ героевъ, и могли только про себя сказать, перечитывая строки этого эпилога: «и этотъ тоже!...»

Въ то время какъ на верху дома Пьеръ нѣжно воркуетъ съ Наташой (*ci-devant* Ростовой), а Николай Ростовъ съ Мари (*ci-devant* Болконской), внизу, въ отдѣлении Николинки (сына умершаго кн. Андрея Болконскаго) происходило, говоритъ гр. Толстой, слѣдующее:

Николинка, только что проснувшись, въ холодномъ поту, съ широко-раскрытыми глазами, сидѣлъ на своей постели и смотрѣлъ передъ собой (онъ разсуждалъ, подъ вліяніемъ прочитанного днемъ Плутарха «жизнеописаніе великихъ людей»): «Чтобы они ни говорили — я сдѣляю *это*. Муцій Сцевола сжегъ свою руку... Но отчего же и у меня въ жизни не будетъ того же?... Я только обѣ одномъ прошу Бога: чтобы было со мною то, чтѣ было съ людьми Плутарха,— и я сдѣлаю тогда то же самое. Я сдѣлаю лучше. Всѣ узнаютъ, всѣ полюбятъ меня, всѣ восхитятся мною...» И вдругъ Николинка почувствовалъ рыданія, захватившія его грудь, и заплакалъ.— «Вы нездоровы?» послышался голосъ М^г Дессалля.— Нѣтъ, отвѣчалъ Николинка, и легъ на подушку. «онъ добрый и хороший, я люблю его,» думалъ о Дессалль...

На кого этотъ больше похожъ: на отца-ли своего покойнаго кн. Андрея или на прадѣда Иртеньева? Богъ ихъ разберетъ—всѣ они *герои*...

Рядомъ съ мечтаніями обѣ известности, съ надеждами на какое-то необыкновенное, тщеславное счастье, на страшное, напр., богатство и знатность, Коля Иртеньевъ, тутъ же рядомъ, чувствуетъ какое то отвращеніе къ самому себѣ,— раскаяніе, но раскаяніе до такой степени слитое съ надеж-

дой на счастье, въ этическомъ смыслѣ, что оно не имѣло въ себѣ ничего печального: «Забыть все, что было, и начать свою жизнь снова...» говорилъ онъ себѣ. Въ немъ нѣтъ-нѣтъ да заговорить материнское начало, вспыхнетъ искра бывалаго предчувствія *истинной* красоты, спрятавшагося временно лишь подъ вліяніемъ ложныхъ началъ эстетического воспитанія. Живыми и полными поэтической прелести чертами рисуетъ намъ гр. Толстой одну изъ такихъ *хорошихъ* минутъ собственнаго, такъ сказать, *переворота въ миниатюре* въ юной жизни своего героя, когда, бывало, лѣтомъ, въ полнолуние, цѣлыми ночами на пролеть, просиживалъ онъ съ своимъ героемъ, «вглядываясь въ свѣтъ и тѣни, вслушиваясь въ тишину и звуки, мечтая о различныхъ предметахъ, *сначала* преимущественно о поэтическомъ сладострастномъ счастії, которое ему тогда казалось высшимъ счастіемъ въ жизни, и тоскуя о томъ, что до сихъ поръ ему дано было только воображать его... Но вотъ огни исчезаютъ въ верхнихъ окнахъ, звуки шаговъ и говора замъняются храпѣніемъ, караульщикъ по ночному начинаетъ стучать въ доску... Наконецъ, тушилась послѣдняя свѣча у Фоки, окно захлопывалось, онъ оставался совершенно одинъ, и, робко оглядываясь по сторонамъ, не видно ли гдѣнибудь, подлѣ клумбы или подлѣ его постели, бѣлой женщины,—рысью бѣжалъ на галлерею, ложился на свою постель лицемъ къ саду, слушалъ звуки ночи и мечталъ о счастіи... Тогда все получало для него другой смыслъ—смыслъ слишкомъ большой красоты и какого-то недоконченного счастія... И вотъ являлась *она*, вся печальная и прекрасная, съ обнаженными руками, съ сладострастными объятіями...

Но луна все выше, выше, свѣтлѣе и свѣтлѣе стояла на небѣ, тѣни становились чернѣе и чернѣе, свѣтъ прозрачнѣе и прозрачнѣе, — и, вглядываясь и вслушиваясь во все

это, что-то говорило, что она съ обнаженными руками и пылкими объятіями,—еще *далеко-далеко не все счастіе*,— что и любовь къ ней далеко-далеко еще не все благо; и чѣмъ больше смотрѣлъ я на высокій, полныи мѣсяцъ, тѣмъ *истинная красота* и *истинное благо* казались мнѣ понятнѣе, выше и выше, чище и чище, и ближе и ближе къ Нему, къ источнику всего благого,—и слезы какой-то неудовлетворенной, по волнующей радости навертывались мнѣ на глаза»... Это тѣ рѣдкія минуты въ жизни нашего героя, когда ему, наконецъ, удается сознательно и явственно выдѣлить въ чистомъ, безпримѣсномъ видѣ ядро прирожденнаго ему начала, понятіе прирожденной его душѣ этической, *истинной красоты добра*,^{*}) изъ общей массы перепутанныхъ понятій призрачной красоты всего эстетического. Но прошла эта минута, исчезъ и «моральный порывъ» и отъ минутнаго «переворота гр. Толстого въ миніатюрѣ» ничего не остается... Такъ, уже въ одной изъ слѣдующихъ главъ, посвященной имъ специально понятію «comme il faut'ства», онъ разсказываетъ о тѣхъ своихъ страшныхъ усиліяхъ, которыя онъ дѣлалъ, чтобы завоевать себѣ «истинное комильфотство», «понятіе котораго, говорить онъ, было въ моей жизни однимъ изъ самыхъ нагубныхъ, ложныхъ понятій, привитыхъ мнѣ воспитаніемъ и обществомъ.» «Мое любимое и главное подраздѣленіе людей—говорить герой гр. Толстого,—въ то время, о которомъ я пишу, было дѣленіе на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй родъ подраздѣлялся еще на людей собственно не comme il ne faut pas и простой народъ. Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть со мной равныя отношенія; вторыхъ ненавидѣлъ, питая къ нимъ какое то оскорблennное чувство личности («для чего ты хочешь говорить, какъ мы,

^{*}) выражение «Исповѣди».

по французски, когда не умѣешь?); третью для меня вовсе не существовали—я ихъ презиралъ совершенно. Мое сом-
ме *il faut* состояло, первое и главное, въ отличномъ фран-
цузскомъ языкѣ и особенно въ выговорѣ. Человѣкъ, дурно
выговаривавшій по французски, тотчасъ же возбуждалъ во
мнѣ чувство ненависти. Второе условіе сомме *il faut* было
погти длинные, отчищенные и чистые; третью было умѣнье
кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое было рав-
нодушіе ко всему и постоянное выраженіе нѣкоторой изящ-
ной, презрительной скуки...»

Ничѣмъ, можетъ быть, такъ наглядно не обрисовывается, въ нашемъ современномъ свѣтскомъ характерѣ воспита-
нія, вся пропасть, все разительное несоответствіе между на-
ружнымъ эстетическимъ благообразіемъ, шлифовкою и внут-
реннею безсодержательностью и ничтожностью въ этическомъ
смыслѣ, какъ этимъ понятіемъ сомме *il faut*ства, за кото-
рымъ теперь такъ всѣ гоняются, обезьянничая одинъ съ
другаго; низшее сословіе съ высшаго! Кавелинъ, правъ былъ,
говоря, что «человѣкъ до виртуозности выдрессированный
съ виду для жизни въ обществѣ, въ «свѣтѣ», можетъ ока-
заться, въ то же время, презрѣнійшимъ негодяемъ и мер-
завцемъ въ нравственномъ отношеніи...» *)

Проявленія истинной компльфотности, какъ выраженіе
внутренняго, присущаго человѣку добрао начала его нрав-
ственной природы, должны быть естественны и свободны,
безъ какого либо усиленія съ его стороны, ибо внутренняя
эта комильфотность есть ничто иное, какъ внутренняя по-
рядочность, въ соединеніи съ любовью къ людямъ безъ раз-
личія ихъ общественнаго положенія. Въ этомъ смыслѣ, позд-
нѣйшій гр. Толстой, Толстой XII-го тома называетъ здѣсь
часто «хорошимъ обществомъ»—общество не князей и гра-

*) «Задачи этики».

фовъ, а «простыхъ, добрыхъ и порядочныхъ людей», дѣляя каждый разъ какъ бы намѣренно эту оговорку, подчеркивая свой теперешній взглядъ на истинное *comme il faut*. (Въ этомъ же смыслѣ Тургеневъ называлъ Донъ-Кихота образцемъ настоящаго *дженръмъна*, такъ какъ «простота и спокойствие обращенія служать отличительнымъ признакомъ такъ называемаго порядочнаго человѣка, ибо они происходятъ отъ отсутствія самомнѣнія (не самолюбія)» *) Гамлетъ же, при всей своей наружной комильфотности, культь позы—представляется ему «ayant des airs de parvenu» **), такъ какъ онъ тревоженъ, иногда даже грубъ и т. д.).

Понятно теперь, почему представляется гр. Толстому гибельнымъ, причинившимъ столько хлопотъ въ жизни его или героя его этотъ ложный принципъ *comme il faut*, привитый ему воспитаніемъ и обществомъ. Дѣйствительно, тяжело, должно быть, было съ такими понятіями и «подраздѣленіями людей», сходиться съ представителями комильфотности естественной, не знающей дѣленія людей по степени правильности производимаго ими французскаго языка! Внѣслѣдствіи герой нашъ пойметъ это и будетъ страдать невыразимо отъ тщетныхъ усилий пересоздать себя, отъ невозможности сойтись ни съ простыми людьми, ни съ университетскою учащеюся молодежью... На сколько того будетъ идти въ немъ процессъ этого перевоспитанія себя, видно уже изъ того, что лишь искреннимъ *Левинъмъ*, онъ почувствуетъ всю фальшивъ полученнаго имъ эстетического тепличнаго воспитанія. ***)

*) «Гамлетъ и Донъ-Кихотъ», соч. I т.

**) проходимцемъ.

***) «Гости у Долли Облонской и подслушавъ какъ она объясняется со своими дѣтьми по французски, Левинъ подумалъ: «Н для чего это? какъ это неестественно и фальшиво! Выучить по французски и отучить отъ искренности!... Замѣчательно также, что Иртеньевъ, именно одновременно съ успѣями своими завоевать себѣ истинное *comme il faut*, начинаетъ падать нравственно, пренебрегая всѣми своими прежними «правилами». Такъ, за ча-

Н е х л ю д о въ.

Въ повѣсти «Утро помѣщикъ» мы встрѣчаемся уже съ 19-лѣтнимъ Иртеньевымъ, который, впрочемъ, теперь выставленъ гр. Толстымъ подъ именемъ Нехлюдова.

«Моральный порывъ», которымъ закончилась «Юность» Иртеньева, выразился въ Нехлюдовѣ стремленіемъ, покинувъ университетскую скамью и прекративъ прежнія знакомства и связи, отдаться благу пришадлежащихъ ему мужиковъ въ его имѣніи. Благодарный трудъ представлялся 19-лѣтнему идеалисту и мечтателю—«дѣйствовать на этотъ простой, воспиримчивый, неиспорченный классъ народа!... «Какая блестящая счастливая будущность!» думалъ онъ. И вотъ онъ опять начинаетъ мечтать на эту тему, какъ мечталъ объ иныхъ предметахъ въ «Юности»; и какъ тамъ онъ ежемѣсячно изъ *бѣленькой* отдаетъ два съ полтиной бѣднымъ, такъ и здѣсь онъ благодѣтельствуетъ уже собственнымъ мужикамъ, даетъ имъ довольство, проливаетъ на нихъ образованіе, коимъ самъ пользуется, исправляетъ пороки, порожденія суевѣрія и певѣжества... И продолжая мечтать такъ, онъ какъ и въ «Юности» незамѣтно «сползаетъ» къ *ней*, къ мечтанію о ней и любви, но уже не отворачивается отъ эстетической, чувственной красоты нарисованнаго воображеніемъ образа, не говорить, что это «г҃ѣхъ», а, на-

емъ у Нехлюдовыхъ онъ не стыдится лгать самыемъ нахальнымъ образомъ, хвастаясь связями и родственными богатствами, чтобы возвыситься въ глазахъ собесѣдниковъ. «Когда зашелъ разговоръ о дачахъ—говорить онъ,—я вдругъ рассказалъ, что у князя Ивана Ивановича есть такая дача около Москвы, что на нее прѣѣзжалъ смотрѣть изъ Лондона и Парижа, что тамъ есть рѣшетка, которая стоитъ 380,000 р., и что князь Иванъ Ивановичъ мнѣ очень близкий родственникъ, и я нынѣчѣ у него обѣдалъ, и онъ звалъ меня непремѣнно прїѣхать къ нему на дачу жить съ нимъ цѣлое лѣто, но что я отказался, потому, что знаю хорошо эту дачу, несколько разъ бывалъ на ней и что всѣ эти рѣшетки и мости для меня нисколько незанимательны, потому что я терпѣть не могу рѣкоти, особенно въ деревнѣ» и т. д.

противъ, старается во всѣхъ мелочахъ выяснить себѣ будущее свое счастье воображаемой жизни съ *нею* среди благодѣтельствующихъ мужиковъ...

Черезъ годъ, однако, какъ вы помните, вѣроятно, Нехлюдовъ испытываетъ уже разочарованіе въ своей новой дѣятельности «нравственнаго добра». И почему?... «Гдѣ же мои мечты?» думалъ онъ: «вотъ уже больше года, что я ищу счастія на этой дорогѣ, и что-жъ я нашелъ? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольнымъ собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нѣть, я просто недоволенъ собой! я недоволенъ потому, что я здѣсь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастія. Я, не испытавъ наслажденій, уже отрѣзалъ отъ себя все, что даетъ ихъ. Зачѣмъ? за что? Кому отъ этого стало легче?». Ему, видите-ли, послѣ неудачъ въ своей дѣятельности «добра», а вѣрнѣе отъ того, что онъ взялся за нее отъ скучи и праздности, отъ недовольства собою — смѣя опять мелькнуть призракъ *эстетическаго* идеала жизни, которую онъ, оставаясь вѣрнымъ полученнымъ съ дѣтства понятіямъ, считаетъ за единственно «счастливою»; его просто потянуло опять къ вицѣниему идеалу, вицѣней осознательной красотѣ, захотѣлось наслажденій извѣтъ, жизни, полной блеска, успѣховъ, — будущности, «ведущей къ лучшему, какъ ему казалось, благу въ мірѣ — къ славѣ»... Ему просто скучно стало съ тою «этическою», моральною жизнью, за которую онъ взялся, идеаль ея, — «истинная красота добра» (выраженіе (*«Исповѣди»*), — еще не даются его полному выясненію.

«Правда, говорить онъ, писала тетка (вѣроятно какая нибудь княгиня Кознакова), что легче самому пайти счастье, чѣмъ дать его другимъ. Я *даромъ* (sic) трачу лучшіе годы!»

Согласно съ этимъ рѣшеніемъ, герой нашъ начинаетъ опять свои «опыты»: съ усердіемъ, достойнымъ лучшей участіи,

пробуетъ онъ себя па блестящей аренѣ свѣтскихъ успѣховъ, наслажденій, красоты, талантовъ и всего того, «веселаго и красиваго зла», о которомъ упоминаетъ «Исповѣдь» гр. Толстого.

О л е н и нъ.

И вотъ, послѣ цѣлаго ряда всевозможныхъ удачъ и неудачъ, расточивъ половину имущества, надѣлавъ долговъ, нашъ «эстетикъ» является уже передъ нами, полный эстетического разочарования, подъ именемъ *Оленина*, въ повѣсти гр. Толстого «Казаки», какъ новое олицетвореніе поворота къ противоположному идеалу и воззрѣнію на жизнь («этическому»). Еще разъ придется вамъ выслушать изъ устъ уѣзжающаго на Кавказъ Оленина,— «что все прежнее было случайно и незначительно, что онъ прежде не хотѣлъ жить *хорошенькo*, но что теперь, съ выѣздомъ сго изъ Москвы, начнется новая жизнь, въ которой уже не будетъ больше тѣхъ ошибокъ, не будетъ раскаяній, а навѣрное будетъ одно *истинное* счастье...» «Уѣхать совсѣмъ и никогда непрѣзжать назадъ, не показываться въ это общество,» приходило ему въ голову. Забывалъ онъ при этомъ одно только, что прошлое его и это самое общество его—ѣхали съ нимъ же, сидѣли у него въ крови, и онъ, въ своихъ стремленіяхъ къ истинному счастію, и не подозрѣвалъ, какъ глубоко и прочно сидѣть оно, это общество и всѣ его понятія, во всемъ его существѣ, какъ трудно отъ него убѣжать куда бы то ни было, будеть ли то Кавказъ, Люцернъ, Петербургъ, Аустерлицъ, Покровское... Воображая, что поселившись въ казачьей станицѣ онъ отрѣшился отъ своей прежней жизни, онъ въ сущности продолжалъ вести ее и здѣсь, проводя всѣ дни, вместо князя Ив. Ив., съ Ерошкой, котораго онъ усерд-

по поилъ чихиремъ, самъ тоже не отставая отъ него, въ охотѣ и въ праздномъ созерцаніи окружающаго его быта простыхъ и естественныхъ Лукашекъ, Илюшекъ, Маринъ и пр.

Немудрено, что и здѣсь его попытки начать жить *хорошенько* не привели ни къ чему, кромѣ развѣ того, что онъ лишній разъ получилъ жалкое испытанное уже удовольствие поколебаться между двумя мірами, между двумя паралельными идеалами жизни, двумя воззрѣніями на нее.

Такъ, разъ во время своихъ праздныхъ скитаний по лѣсамъ, онъ вдругъ ощутилъ вновь «моральный порывъ», приливъ какого-то «внѣ-личнаго счастья»:

«Отчего я счастливъ и зачѣмъ я жилъ прежде? раздумывалъ онъ: какъ я былъ требователѣнъ для себя, какъ придумывалъ и ничего не сдѣлалъ себѣ кромѣ горя! А вотъ какъ мнѣ ничего не нужно для счастія!» И вдругъ, ему какъ будто открылся новый свѣтъ:

«Счастіе вотъ что, сказалъ онъ самъ себѣ: счастіе въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастія; стало быть она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то-есть отыскивая для себя богатства, славы, удобства жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастія незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на виѣшнія условія? какія? Любовь, самоотверженіе!...» Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ казалось ему, новую истину, что вскочилъ и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого-бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому бы сдѣлать добро, кого бы любить. «Вѣдь ничего для себя не нужно, все думалъ онъ: отчего же не жить для другихъ?» Однако, какъ ни искрененъ и правдивъ былъ

этотъ порывъ, но стоило прійти *красотѣ*—и разсѣялась въ прахъ вся египетская внутренняя работа; черезъ нѣсколько дній онъ уже «эстетически» вѣщалъ:

«Самоотверженіе, любовь— все это вздоръ, дичь. Это все гордость, убѣжище отъ заслуженного несчастія, спасеніе отъ зависимости къ чужому счастію. Жить для другихъ, дѣлать добро! Зачѣмъ? Когда въ душѣ моей одна любовь къ себѣ, одно желаніе—любить *ее* и жить съ нею, ея жизнью!...»

Мы увидимъ, какъ онъ еще долго будетъ тяготѣть то къ одному моральному настроенію или возврѣнію на жизнь, то къ другому, то живя внутреннимъ своимъ міромъ, то гоняясь за призраками жизни, то подымаясь духомъ, то спова падая, то вѣруя и совершенствуясь, то отрицая и разрушая свою же работу, пока, наконецъ, окончательно потонувъ въ «эстетическомъ», разочарованный въ своихъ порывахъ, въ своей надеждѣ на обновленіе, на счастіе, убѣдившись въ лжи и себя самого, и окружающей жизни, усталый отъ этой жизни, онъ не дойдетъ, въ лицѣ героя изъ «Записокъ Маркера», до той грани, до того страшнаго безразличія ко всякимъ «вопросамъ», когда человѣкъ уже ничего не ищетъ въ жизни, какъ только минутныхъ наслажденій, азартныхъ игръ и полнаго самозабвенія въ винныхъ парахъ, чтобы только *уйти отъ себя*, забыть себя... Въ такомъ состояніи герой повѣсти сходится съ завсегдатаями какого-то средней руки, не то клуба, не то трактира, втягивается въ игру, проигрываетъ послѣднее состояніе, и, наконецъ, пускается себѣ въ лобъ пулю, оставивъ послѣ себя записку съ страшными признаніями. Для насъ важенъ не столько фактъ самоубийства,—тѣмъ болѣе, что происходитъ это только въ повѣсти гр. Толстого, а на самомъ дѣлѣ герой нашъ не умеръ—да и не скоро еще умреть, продолжая воскресать и еще появляться передъ нами то подъ видомъ

одного, то другаго героя слѣдующихъ произведеній гр. Толстого,— сколько слѣд. строки изъ его предсмертной записки: «....Я ужаснулся, когда увидѣлъ, какая неизмѣримая пропасть отдѣляла меня отъ того, чѣмъ я хотѣлъ и могъ быть... Богъ далъ мнѣ благородныя стремленія; я захотѣлъ *наслаждаться* и затопталъ въ грязь все, что было во мнѣ хорошаго... Гдѣ тѣ свѣтлыя мысли о жизни, о вѣчности, о Богѣ, которыя съ такою яснотою и силой наполняли мою душу? Гдѣ надежда на развитіе, сочувствіе ко всему прекрасному, любовь къ роднымъ, къ близкимъ, къ труду, къ славѣ? Гдѣ понятіе долга?... А какъ-бы я могъ быть *счастливъ*, ежели бы я шелъ по той дорогѣ, которую, вступая въ жизнь, открылъ мой свѣжий умъ и дѣтское, истинное чувство! Не разъ я пробовалъ выйти изъ колеи, по которой шла моя жизнь, на эту свѣтлую дорогу. Я говорилъ себѣ: употреблю все, что есть у меня болѣ, и не могу... Наконецъ я дошелъ до страшнаго убѣжденія, что не могу подняться, пересталь думать объ этомъ и хотѣлъ забыться; безнадежное раскаяніе еще сильнѣе тревожило меня. Тогда мнѣ въ первый разъ пришла мысль о самоубійствѣ....»

Кн. Андрей.

На первый взглядъ князь Андрей («Война и миръ») можетъ показаться человѣкомъ окончательно установившимся въ извѣстномъ міросозерцаніи, «пашедшемъ себя», въ которомъ уже нѣть этихъ колебаній между различными идеалами, человѣкомъ съ твердымъ характеромъ и болѣшимъ умомъ. На самомъ же дѣлѣ, въ безхарактерности, въ умѣніи носить эстетическія «маски» и драпироваться въ «плащи» различныхъ наименованій онъ не только не уступить своимъ предшественникамъ, но даже, пожалуй, превзойдетъ ихъ. Въ тѣхъ постоянный разладъ и колебанія между двумя идеала-

ми зависѣль, какъ мы видѣли, отъ невыясненности этическаго идеала, смышиваемаго съ эстетическимъ; здѣсь этотъ внутренній разладъ, правда, вначалѣ намъ не замѣтенъ, но мы ошиблись бы, если бы вздумали отъ «видимости» заключать къ *цѣлѣнности* кн. Андрея. На самомъ же дѣлѣ, не замѣтенъ онъ намъ только потому, что кн. Андрей очень ловко, съ большимъ успѣхомъ,—очень *серьезно* носить свою маску, этимъ скрывая отъ неопытнаго глаза истинную натуру свою... Но для насъ, со всею тщательностью изучившихъ фамильныя черты и особенности героеvъ гр. Толстого, не можетъ имѣть успѣха подобная система, не можетъ скрыться истинное существо кн. Андрея. Вы помните какъ предокъ кн. Андрея, знакомый уже намъ Иртеньевъ Николай Ильичъ, опредѣлялъ, между прочимъ, свое «истинное существо *il faut*»; особенное значеніе отводилось въ немъ «равнодушію ко всему и постоянному выраженію нѣкоторой изящной и презрительной скуки» (4-ое условіе «существо *il faut*»)? Кн. Андрей, съ мѣста же, представленъ намъ, въ первый разъ въ романѣ гр. Толстого, входящимъ въ гостинную Анны Павловны Шереръ, такъ: «Все въ его фигурѣ, начиная отъ усталаго, скучающаго взгляда и т. д. Ему, видимо, всѣ бывшіе въ гостиной не только были знакомы, но уже надоѣли такъ...» и т. д. Онъ вообразилъ, что кругъ, въ которомъ онъ вращается, нужно презирать,—и онъ, напустивъ на себя видъ презрительной эстетически-изящной скуки, продолжаетъ все таки вращаться въ немъ, такъ какъ это, какъ видно, доставляетъ ему нѣкоторое затаенное удовольствіе. Презирая эстетически лишь свое общество, онъ, однако, настоящимъ образомъ презираетъ низшихъ себя, народъ... Иртеньевъ Коля, во время разлуки съ домашними, при отѣздѣ въ Москву, съ брезгливостью взиралъ «на подходившихъ «къ ручкѣ» его домашнихъ слугъ, отъ которыхъ

песло деревяннымъ масломъ»; комильфотный кн. Андрей, Ѣдущій къ арміи, тоже «съ презрѣніемъ смотрѣлъ на эти безконечные команды, повозки... на это милое «православное воинство», вспомнилъ онъ слова Билибина...»

Гр. Толстой въ кн: Андреѣ эстетически воплощаетъ начало *ума*, апоѳеозу его, идеализируя ту гордость имъ, тѣтъ его внѣшній красивый блескъ, которыс дѣлаютъ изъ него одно изъ упоминаемыхъ въ «Исповѣди» «красивыхъ золъ», «красивыхъ проявленій индивидуальной силы», «боговъ»... Въ этомъ богоѣ, въ этой «силѣ» онъ заставляеть кн. Андрея почерпать всѣ его честолюбивые замыслы, всѣ главныя его цѣли въ жизни, его глубокій, красивый скептицизмъ, которому онъ, въ лицѣ Пьера Безухаго, такъ удачно выставилъ живое противоположеніе этическихъ: началь человѣка искренняго, болѣе чувствующаго, чѣмъ думающаго, болѣе вѣрующаго, чѣмъ сомнѣвающагося... И въ кн. Андреѣ тоже, въ концѣ концовъ, произойдетъ переломъ, этическая сторона его натуры возьметъ верхъ, но пока это произойдетъ, пока онъ *найдетъ себѧ*, «обрѣтетъ себѧ» въ этическомъ смыслѣ,—онъ передъ нами во всеоружіи своей воображаемой, боготворимой силы красиваго ума, красиваго и изящнаго скептицизма и разочарованности жизню и людьми, словомъ—въ томъ знакомомъ памъ положеніи «примѣривапій» къ себѣ наружныхъ этическихъ идеаловъ, въ которомъ мы уже не разъ заставали его предшественниковъ. Мы не знаемъ какимъ путемъ, цѣною какой ломки надъ собою досталось кн. Андрею это искусство его *казаться*, это убѣждице «невѣрующаго ума», въ которомъ онъ на видъ, такъ прочно и серьезно засѣлъ, тогда какъ, въ сущности, такъ эстетично спрятался,—не знаемъ, потому что у гр. Толстого, до кн. Андрея,—между нимъ и послѣднимъ его предшественникомъ, описаннымъ въ «Запискахъ маркера» и покончившимъ... съ собою такъ трагично,—мы не имѣемъ промежуточнаго типа,

на которомъ бы можно было видѣть эту предварительную работу «самоизсущенія», очерствленія сердца, этой новой жертвы «этическаго» на алтарь «эстетическаго»... Въ Андреѣ мы встрѣчаемся съ чѣмъ то уже готовымъ, во всеоружіи атрибутовъ его силы, гдѣ «эстетическое» и трудъ его завоеванія уже — *consommatum est*; но уже въ силу именно этой видимой наружной прочности его драпировки — и легко такъ обмануться, — принявъ кн. Андрея за нѣчто установившееся въ своемъ міросозерцаніи, между тѣмъ какъ это — все тотъ же, но уже взрослый Иртеньевъ, все еще продолжающій только «играть въ *большаго*»; ибо какъ тотъ, будучи еще отрокомъ, находилъ удовольствіе, въ столкновеніяхъ съ своими аристократическими сверстниками, подражать большимъ, копируя съ нихъ умѣніе скрывать истинныя свои чувства, боясь «осердечиваться» и «разоткровенничаться» въ выраженіи своихъ задушевныхъ желаній, такъ и этотъ продолжаетъ, болѣе только удачно, опыты «самоочерствленія» въ видахъ вялшаго торжества *взрослого* разсудка, не замѣчая, въ то же время, какъ самъ онъ еще дѣтски продолжаетъ мечтать, только мечтать и мечтать... Иртеньевъ мечталъ о томъ, какъ онъ лишь скажеть: «Иртеньевъ Николай» — и всѣ поразятся этимъ извѣстіемъ, всѣ обступятъ его и т. д.; кн. Андрей мечтасть (при сознаніи, что онъ «ничего не знаетъ») о томъ, какъ онъ совершилъ нѣсколько такихъ красивыхъ подвиговъ, что сдѣлается «спасителемъ отечества и слава его вознесется наравнѣ съ славою Наполеона.» И каждый разъ, какъ русская армія оказывалась въ затруднительномъ и критическомъ положеніи, ему totчасъ же приходило въ голову, что ему-то и именно теперь, въ эту минуту, предназначено вывести ее изъ этого положенія, что вотъ онъ «тотъ Тулонъ, который откроестъ

ему первый шуть къ славѣ!» Нѣтъ этой минуты,— и кн. Андрей сидитъ сложа руки .. «Слышая Билибина, онъ соображалъ уже, какъ, пріѣхавъ къ арміи, онъ на военномъ совѣтѣ подаетъ такое мнѣніе, которое одно спасаетъ армію и какъ ему будетъ поручено исполненіе этого плана.» Выходитъ: или — геройство, подвиги, или — бездѣліе абсолютное, — середины у кн. Андрея нѣть: болѣе скромныя цѣли, болѣе скромная польза и задачи — недостойны его .. Вотъ почему, когда «геройство» его, когда «Тулонъ» его не выгорѣли при Аустерлицѣ, онъ вышелъ въ отставку, засѣль у себя въ имѣніи и захандрилъ, говоря, что онъ уже «слуга покорный, далъ слово въ русской арміи не служить болѣе», что не мѣшаетъ ему, однако, увѣрять Пьера, что «его желаніе славы — та же любовь къ близкимъ, желаніе сдѣлать имъ добро и стяжать ихъ похвалу...» Кн. Андрей, какъ мы уже говорили, искусно носить свою эстетическую маску «разочарованности», скептицизма и печали... Онъ сдѣлалъ, надо отдать ему сираведливость, очень удачный выборъ, ибо трудно найти болѣе утонченную, болѣе красивую и серьезную, такъ сказать, эстетическую маску, какъ маска искусственной «разочарованности», — эстетическое отчаяніе, которое такъ бы «шло» къ человѣку, имѣло бы такую прелесть въ глазахъ другихъ, придавало бы ему такой гордый вызывающій взглядъ и высокомѣрную улыбку... Не даромъ кн. Андрей принадлежитъ къ эпохѣ, когда уже готова была почва для появленія будущаго «байронизма» и слѣдовавшей за нимъ роковой и трогательной эпидеміи, отъ которой не избѣгъ ни одинъ мыслитель и артистъ первой половины XIX столѣтія! «Зачѣмъ связался я съ обществомъ, когда я поэтъ, когда на челѣ моемъ написано, что я долженъ вести кочевую жизнь, что обреченъ на жертву грусти и свободѣ? Для чего я вступилъ въ союзъ съ человѣческой семьей? Не въ

Этомъ мой удѣлъ!...» *)—такъ или почти такъ могъ формулироваться тогда, въ эту эпоху, въ каждомъ поэтѣ и художнике, артистѣ или просто способной, даровитой и чуткой натурѣ человѣка ихъ «высокомѣрный мятежъ», ихъ «съ небомъ гордая вражда»... Впослѣдствіи, какъ въ поэзіи, такъ и въ жизни «эпидемія» эта размѣнялась на мелкую монету всевозможнаго рода «эстетическихъ» печалей, апоѳеоза несчастія, соблазнительного фатализма, видящаго, источникъ этого несчастія въ индивидуума, а не въ немъ самомъ, въ его собственной винѣ (взглядъ этическій; благодаря ему даже Лермонтовъ, этотъ лучшій русскій представитель «высокомѣрнаго мятежа» могъ иногда говорить:

...Находишь корень муки въ себѣ самому
И небо обвинить нельзя ни въ чемъ!...)

Съ «трагическихъ поэтовъ» манія эта перешла въ жизнь, давъ начало цѣлому ряду безчисленныхъ «трагическихъ героеvъ», тѣшавшихся своею скорбью, ужасавшихъ миръ однимъ ея именемъ, и «боясь лишиться ея, ежедневно ее выкладывавшихъ...»

Кн. Андрей, такимъ образомъ, отдаетъ только дань этой эстетической привычкѣ вѣка своего. Онъ искусно носить маску эстетической разочарованности,—онъ, который еще ничего въ жизни не испыталъ, не жилъ и не любилъ!... Вотъ почему, иска онъ возится съ своею «печалью»,—радость уже подкарауливаетъ его изъ-за угла и захватываетъ въ расплохъ его «разочарованность»: такъ, первое же столкновеніе его съ вѣтринной дѣвочкой (Наташой Ростовой) обнаруживаетъ всю искусственность, призрачность и «эстетичность» панщенныхъ имъ на себя quasi-опытности, разсудительности и разочарованности... Разочарованность, вѣдь,

*) Ж. Зандъ: «Письма путешественника».

эта въ немъ происходить отъ той же все Иртеньевской склонности къ анализированию, благодаря которой, при богатствѣ ихъ воображенія, они успѣваютъ разочаровываться въ благахъ жизни прежде чѣмъ успѣютъ еще отвѣдать отъ нихъ; разочарованіе у нихъ, если можно такъ выразиться — между губами и чашей, до которой губы эти не успѣли еще и прикоснуться...

Но люди болѣе простые, какъ Пьеръ, не посвященные въ тайны успѣшнаго ношенія масокъ и плащей, готовы ледянную холодность ихъ сердца принимать за зрѣлость ихъ все-понявшаго ума все-извѣдавшаго сердца, готовы благоговѣть, вѣрить и молиться на нихъ! (На этой вѣрѣ собственно и былъ основанъ успѣхъ въ обществѣ нашихъ эстетическихъ «лишнихъ людей» 40-хъ годовъ, нашихъ красивыхъ говоруновъ, въ родѣ Рудина и всей этой илеяды quasi-талантливыхъ натуръ, прикрывавшихся разными мантіями и разоблаченныхъ такъ хорошо покойнымъ Добролюбовыми, сведенныхъ имъ съ ихъ красиваго пьедестала на мягкий диванъ и прикрытыхъ вмѣсто мантіи просторнымъ халатомъ *Обломова*) — «Пьеру совѣтно было высказывать всѣ свои новыя мысли и убѣжденія... Онъ сдерживалъ себя, боясь быть *наивнымъ* предъ Андреемъ, предъ которымъ какъ думалъ Пьеръ, мечты, надежды на счастье и на добро были *nеприличны...*» Кн. Андрей, съ своей стороны, стараясь поддержать этотъ престижъ свой, тоже не находилъ или старался не находить ничего общаго у себя съ Пьромъ и смотрѣлъ на него какъ-то покровительственно. А между тѣмъ этотъ же самый «наивный» Пьеръ заставилъ его, послѣ, признаться самому себѣ: «Пьеръ былъ правъ, говоря, что надо вѣрить въ возможность счастья, чтобы быть счастливымъ, и я теперь счастливъ. Оставимъ мертвымъ хорошить мертвыхъ, а пока живешь, надо жить и быть

счастливымъ...» Этотъ же самый «наивный» Пьеръ вывелъ его, какъ онъ самъ говоритъ, на свѣжій воздухъ, когда со-вѣтывалъ ему: «милый другъ, я васъ прошу, вы не ум-ствуйте,— женитесь и женитесь... И я увѣренъ, что счаст-ливѣй васъ не будетъ человѣка...»— Но эгоистическая цѣли успѣха, честолюбія, славы и ума, которыхъ кн. Андрей жилъ одной лишь половиной своей натуры, именно—полови-ной эстетической. Для нашей цѣли не представлялъ бы значенія и интереса этотъ новой герой самого круинаго художественного произведенія гр. Толстою, если бы мы и въ немъ не съумѣли отыскать задатковъ той же двойственности внѣденныхъ въ его душу началь, если бы, при всемъ сво-емъ исключительномъ служеніи одному богу, непродолжала паралельно въ немъ жить, въ скрытомъ видѣ, прирожденная ему сторона его натуры, которая иѣть-иѣть да и проснет-ся, заявить о своемъ существованіи.. Такъ, послѣ Аустер-лица, когда раненный онъ лежалъ на Аустерлицкомъ полѣ и увидалъ «высокое, вѣчное небо» «что-то давно заснувшее», что-то лучшее, что было въ немъ съ дѣтства, ра-достно проснулось въ немъ,—и онъ хотѣлъ бы опять жить, но чтобы жить уже иначе; такъ, какъ онъ понималъ теперь жизнь...» Чувство это исчезло, какъ только кн. Андрей вступилъ опять въ привычныя условія жизни, но онъ зналъ, «что это чѣвство, которое онъ не умѣлъ развить, жило въ немъ. Свиданіе съ Пьеромъ было для князя Андрея эпохой, съ которой началась хотя во внѣшности и также самая, но во внутреннемъ мірѣ его—новая жизнь...»

Раненный опять уже при Бородинѣ, лежа въ палатѣ, кн. Андрей опять спрашивается себя: «отчего мнѣ такъ жалко разставаться съ жизнью? Что-то было въ этой жиз-ни, чего я не понималъ... Всѣ лучшія, счастливѣйшія ми-

нуты всей жизни его, въ особенности самое дальнее дѣтство, представлялись его воображению, даже не какъ прошедшее, а какъ дѣйствительность... Кн. Андрей не могъ удержаться болѣе и заплакалъ нѣжными, любовными слезами, надъ собой, надъ своими заблужденіями... «Состраданіе, любовь къ братьямъ, къ любящимъ, къ несавидающимъ насть, любовь къ врагамъ, та, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила сестра княжна Марья и которой я не хотѣлъ понимать; вотъ отчего мнѣ жалко уходящей жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, ежели бы я былъ живъ...» Кн. Андрей самъ отлично видѣть какъ его эстетическіе « опыты » очерствленія своего сердца, ради вящшаго торжества одного ума, малоувѣнчиваются успѣхомъ, какъ въ самомъ этомъ умѣ его возникаютъ постоянно какие то вопросы, подрывающіе авторитетъ своего же источника, заявляющіе о компромиссахъ и сдѣлкахъ въ пользу какого то «забытаго» другаго начала... Ему, кн. Андрею, непріятны вначалѣ эти непрошеннныя вмѣшательства и надобданія голоса сердца въ усилившихъ ума его изолировать себя на недосягаемой высотѣ... Онъ завидуетъ уму Сперанскаго, во время работъ своихъ у послѣдняго, такъ какъ « Сперанскій, въ глазахъ кн. Андрея, былъ именно тотъ человѣкъ, разумно объясняющей всѣ явленія жизни и ко всему умѣющи приложить мѣрило разумности, какимъ онъ самъ хотѣлъ быть... » (Но «разумность» вѣдь, ничто иное, какъ живой синтезъ ума и сердца, ибо безъ послѣдняго она обращается уже въ *разс. дочность*, ограниченность, дающая начало сухости и черствости ума). « Въ Сперанскомъ поразила кн. Андрея именно эта несомнѣнная, непоколебимая его вѣра въ силу и законность ума. Видно было, что Сперанскому никогда не могла прийти въ голову та обыкновенная для кн. Андрея мысль, что нельзѧ все таки

выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнѣніе, тоже столь обыкновенное для кн. Андрея, что не вздоръ-ли все то, что я думаю и все то, во чѣмъ я вѣрю?...» На самомъ же дѣлѣ, для насть, кн. Андрей этою завистью признавался лишь въ своей праздности, въ погонѣ за какимъ-то эстетическимъ; красивымъ умомъ... Вѣдь трудно же, ничего не дѣлая, ведя праздную, мечтательную жизнь—имѣть разумъ человѣка, вся дѣятельность умственная кото-раго устремлена къ пользѣ людей и ихъ благу! Ибо тогда дѣятельность эта принимаетъ уже характеръ, какъ мы видѣли раньше, этическій, характеръ «призванія.» Этою завистью кн. Андрей только болѣе еще утверждаетъ насть въ нашемъ о немъ мнѣніи, еще болѣе убѣждаетъ насть, какъ мы правы, приписывая его погонямъ за умомъ исключи-тельно лишь эстетическій характеръ,—цѣли драпировки, на-ружной маски... Она не скрылась отъ нашихъ взоровъ ни въ его встрѣчахъ и разговорахъ съ Пьеромъ, ни въ его искусственныхъ и подогрѣтыхъ подтруниванихъ надъ от-цемъ, надъ «божими людьми» княжны Марьи, надъ ея вѣ-рой и молитвой; она же окончательно всилыла теперь на поверхность—этими его собственными призаніями въ «за-висти» къ чужому уму,—собственно, къ чужой, разумной, наполненной трудомъ и содержаніемъ жизни. Оттого-то кн. Андрею и трудно давалось пониманіе Сперанскаго: онъ, кн. Андрей, лучшій представитель своего округа, передовой че-ловѣкъ въ своей средѣ,—искалъ въ Сперанскомъ, (вышед-шемъ изъ сословія, не знающаго Иртеньевской науки на-ружного «комильфо»), чего либо себѣ подобнаго, т. е. какой либо рисовки, ходульности и «геройства»—и не на-шедши этого, тотчасъ-же, по свойственной ему склонности къ «примѣриванію», началъ желать и для себя *такого* ума.. Если бы Сперанскій былъ изъ того же общества,

изъ котораго быль кн. Андрей, того же воспитанія (къ счастью Россіи, скажемъ мы,—не *такого*) и правственныхъ привычекъ, то Болконскій скоро бы нашелъ (еще бы: рыбакъ рыбака видить издалека!) его слабыя, *не геройскія* стороны, но теперь этотъ странный для него складъ его ума тѣмъ больше внушалъ ему уваженія, что онъ не понималъ его...» Да и не могъ понять; другое дѣло—понять болѣшую или меньшую степень уклоненія отъ истинной комильфотности, по наукѣ Иртеньева,—или, послѣ возвышенныхъ мыслей, не стыдиться произносить слѣдующія циническія рѣчи:

— Ну, вотъ ты хочешь освободить крестьянъ, говорилъ онъ Пьеру:—это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засѣкаль и не посыпалъ въ Сибирь), и еще меньше для крестьянъ. Ежели ихъ бывать, сѣкутъ, посылаютъ въ Сибирь, то я думаю, что имъ отъ этого нисколько не хуже. Въ Сибири ведеть онъ ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на тѣлѣ заживутъ, и онъ также счастливъ, какъ и былъ прежде и т. д.».

Эстетичность и призрачность красивыхъ цѣлей жизни, настроенныхъ для себя кн. Андреемъ, не замедлила обнаружиться при «бѣломъ свѣтѣ для—ясной мысли его о смерти»*)... «Теперь, говорить онъ, я увидѣлъ вдругъ безъ стекла, при яркомъ дневномъ свѣтѣ,—эти дурно намалеванныя картины. Да, да, вотъ они, тѣ волновавшіе и восхищавшіе и мучившіе меня ложные образы, говорилъ онъ себѣ, перебирая въ воспоминаніи главныя картины своего волшебшаго фонаря жизни, глядя на нихъ при этомъ холодномъ

*) Замѣчательно, что почти всѣ изъ героевъ и героинь гр. Толстого обнаруживаются ту же склонность—начать жизнь этическую лишь послѣ личнаго несчастія, недостигнутыхъ цѣлей жизни эстетической. Мы уже видѣли это на разобранныхъ герояхъ. То же повторяется въ «Аннѣ Карениной» и на Кitti Щербаковой, подругѣ ея Варенькѣ, на самой Аннѣ Карениной и даже на Вронскомъ.

бѣломъ свѣтѣ днѧ—яской мысли о смерти: вотъ онѣ, эти грубо намалеванныя фигуры, казавшіяся мнѣ чѣмъ то прекраснымъ и таинственнымъ: слава, *общественное благо*, любовь, самое *отечество*... Какъ велики казались мнѣ эти картины, какого глубокаго смысла казались онѣ исполненными! И все это такъ просто, такъ блѣдно и грубо при ясной мысли о смерти...»

Оттого такъ блѣдно и грубо, оттого онѣ такъ и померкли и такъ призрачны кажутся предъ лицемъ грядущей смерти, что въ нихъ хотѣлось видѣть одно «прекрасное и таинственное», одно красивое и пріятное...

Если разсматривать «общественное благо, отечество», и т. д. только съ точки зрѣнія «красивыхъ и таинственныхъ картинъ волшебнаго фонаря», то онѣ дѣйствительно, при бѣломъ свѣтѣ, окажутся «грубо намалеванными» фигурами... Но въ жизненныхъ цѣляхъ, выбранныхъ *этически*,—менѣе всего «таинственности»; онѣ, можетъ быть, даже менѣе всего согласны съ понятіемъ эстетической красоты, но именно потому, что ихъ внутренняя красота *выше* ея, ибо она всегда сама—*при бѣломъ свѣтѣ днѧ* и никогда не меркнетъ ни отъ анализовъ, ни отъ призраковъ смерти и т. п. Если бы съ этими цѣлями кн. Андрей соединялъ когда либо искреннее и дѣйствительное желаніе блага и пользы другимъ, желаніе, вытекающее изъ присоединенія этическихъ началь къ своей дѣятельности, изъ этической любви къ ближнимъ,—эти цѣли не могли бы никогда и ничего потерять въ своемъ значеніи предъ лицемъ хотя бы самого грознаго, самаго осознательнаго призрака смерти!..

П ь е р ь.

Живою противуположностью кн. Андрею является у гр. Толстого Пьеръ, въ которомъ авторъ олицетворяетъ какъ бы

собственное желание «опроститься». Если первый является нѣкоторымъ представителемъ начала эстетического въ художникѣ, то второй служить автору его цѣлямъ этическимъ. Эти же два начала живымъ противуположеніемъ являются воплощенными въ женской половинѣ дѣйствующихъ лицъ «Войны и мира»—въ Наташѣ Ростовой съ одной стороны и въ кн. Марьѣ, сестрѣ родной кн. Андрея—съ другой.*). Въ произведеніи этомъ трудно указать, кому болѣе изъ этихъ «паралельныхъ типовъ» сочувствовалъ тогда самъ авторъ. Въ то время, какъ видно, симпатіи гр. Толстого не были еще такъ хорошо выяснены ему самому, какъ въ «Аннѣ Карениной», и потому можно сказать лишь, что онъ, какъ бы въ нерѣшительности, колеблется еще и не знаетъ, на какую сторону склониться, дѣлить свои симпатіи по ровну, одинаково любя живущую минутою, полную молодой жизни и вѣтренную Наташу, но цѣня также и высокій этическій идеалъ воплощенный въ княжнѣ Марьѣ, уважая холодный умъ и характеръ въ кн. Андреѣ, но завидуя также простотѣ и сердечности Пьера. Пьеръ симпатиченъ гр. Толстому именно отсутствиемъ въ немъ этой «эстетичности» Андрея, тѣмъ, что онъ не становится на ходули, не поситъ масокъ... Онъ *хорошъ* безъ рефлектирующихъ усилий и потугъ ума, онъ безкорыстно ищетъ истину такъ же, какъ естественно отдается разгулу... Но душою онъ цѣломудренъ («Онъ прелестенъ, онъ не имѣеть пола», говорили про него по французски). Все у него натурально и, главное, искренно: искренно его увлечение масонствомъ, желаніемъ нравственного совершенствованія, исканія истины и новые переходы къ холостой беспорядочной жизни,—къ вину, женщинамъ и т. д. Онъ не идеализируетъ своихъ «моральныхъ

*.) Въ «Аннѣ Карениной»—въ заглавной героинѣ съ одной стороны и въ Долли и Кити—съ другой.

порывовъ», какъ его предшественники,—Иртеньевъ, Нехлюдовъ, Оленинъ, кн. Андрей, но онъ еще менѣе дѣлаетъ это по отношенію къ своимъ «слабостямъ.» Онъ чуждъ жалкой черты своего общества—тщеславія, суетности, болѣзеннаго честолюбія, алчности и мелочности, возведенныхъ на степень «красоты» («красивыя цѣли жизни», красивыя «должности», и т. п.)... Вотъ почему онъ—*чудакъ* въ своей средѣ, въ своемъ обществѣ... вотъ почему его любятъ хорошия, свѣжія и неиспорченныя еще натуры, какъ Наташа, Мари, позднѣйшій кн. Андрей. Онъ—*чудакъ* совершенно безъ всякой задней мысли... Онъ открытъ, великодушенъ, добрякъ и не матерьяленъ; онъ не ищетъ карьеры, хотя его къ этому и призываютъ его опекуны, не гонится за внѣшними успѣхами, блескомъ, комильфотностью... Онъ просто,—добрый, честный и простой искренній человѣкъ. И этой то своей простотою, этою-то искренностью онъ и выдѣлился изъ своего круга съ его тяжелой, искусственной атмосферой,—вотъ почему онъ и «чудакъ», ибо онъ *оригиналенъ*, а оригинальность можетъ стоять выше или ниже толпы, но никогда—на равнѣ съ нею... Чудакъ для *своего* общества,—онъ для другаго круга, для другой, болѣе здоровой среды можетъ вовсе и не представляться таковыемъ. Пьеръ—прототипъ Левина, отъ первого ко второму переходъ самый незначительный, хотя по времени, раздѣляющему ихъ воспроизведеніе въ художественной формѣ, онъ и представляется продолжительнымъ.

Л е в и нъ.

„Есть міръ, въ немъ мы развиваемся; какая судьба постигнетъ насъ, все равно (да и судьбы все пѣтъ); дѣло все въ томъ, чтобы мы пришли въ себѣ,—остальное безразлично.“

Rachel.

Левинъ весь—олицетворенное стремленіе къ искренности, къ искренности чувствъ и мыслей, задатки которой въ немъ

были и раньше, по заглушались постоянно ложнымъ воспитаніемъ и дальнѣйшо затѣмъ свѣтскою жизнью въ извѣстномъ кругѣ общества. Въ Левинѣ олицетворенъ въ глубоко-правдивой формѣ задушевный *этический* типъ самого автора. Онъ такъ же поздно воспроизведенъ въ художественной формѣ, какъ поздно въ самомъ авторѣ совершился переворотъ, приведшій его *къ самому себѣ*: Левинъ, въ этомъ смыслѣ, есть ничто иное, какъ олицетворенное *запоздалое возвращеніе къ самому себѣ* самого гр. Толстого. Чтобы быть правдиво изображенныемъ, *Левинъ* долженъ бытъ уже «пережиться» авторомъ, ибо если это—его исповѣдь, то не могъ же онъ исповѣдываться прежде, чѣмъ успѣлъ *покаяться*, не могъ онъ воплотить въ художественной формѣ эту исповѣдь свою прежде, чѣмъ почувствовалъ въ страстной формѣ желаніе того же самого перерожденія, которое выражено въ Левинѣ. Въ Левинѣ, наконецъ, гр. Толстой *пришелъ въ себя...* Левинъ—типъ столь же прогрессивный, какъ прогрессивна воплощаемая имъ реакція, въ смыслѣ воздействиія забытыхъ, но истинныхъ этическихъ началь.

Въ Левинѣ развита столь необходимая въ нашъ вѣкъ внутренняя центростремительная сила самосознанія, сила противоположная центробѣжной силѣ инстинкта; въ ней—начало индивидуального прогресса по собственному свободному почину личности.

Прогрессъ этотъ есть *нравственный* прогрессъ личности,—самое существенное и наиболѣе недостающее звѣнио нашей цивилизациіи, *пропущенное* ею сторона духовнаго человѣка. Такой именно процессъ ближе, понятнѣе и всего доступнѣе патурамъ *Левинскаго* склада, и вотъ почему гр. Толстой-Левинъ отрицая однѹю рукою *« всякий* прогрессъ, какъ общий законъ человѣчества», другою рукою приближаетъ къ себѣ, признаетъ и щѣнить самъ же этотъ про-

гресъ, перенося его лишь въ *душу* человѣка, признавая его «начертаннымъ въ душѣ каждого человѣка и только вслѣдствіе заблужденія переносящимся въ исторію...» (IV т. ст. «Прогрессъ и опредѣленіе образованія»).

Пр. Толстой оправдываетъ собою лишь слова Гейне: «Всякая эпоха думаетъ, что ея борьба самая важная. Такова вѣра времени. Въ этой вѣрѣ время живеть и умираеть ..» Всякая философія есть, собственно, *ея время*, переведенное въ мысли: наше же время, наша эпоха есть, по преимуществу, эпоха исканій идеаловъ *субъективныхъ*, нравственныхъ. За нею можетъ послѣдовать новый пышный разцвѣтъ *объективной* дѣятельности человѣчества, но какъ то, такъ и другое одинаково «перенесутся въ исторію,» занявъ въ ней каждое свое почетное мѣсто; и было бы, скорѣе, «заблужденіемъ» — отрицать одно въ угоду другому,—возвышать нравственный прогрессъ, умалляя или вовсе даже отрицая прогрессъ объективной дѣятельности — человѣческую культуру, искусство, науку...

«Исканіе высшаго удовлетворенія, говорить Кавелинъ, и изслѣдованіе объективныхъ условій, развиваясь рядомъ, бокъ-о-бокъ, рѣдко совпадали по времени: то одно, то другое опережало и выдвигалось впередъ, пріостанавливая и заслоняя другое. Эпохи, когда субъективныя психическія потребности стояли на первомъ планѣ, смѣнялись періодами дѣятельныхъ преобразованій, изслѣдований объективныхъ условій и преисбреженіемъ этическихъ требованій — и на оборотъ...»

(«Зад. этики»).

ПРОЛОВЪДЬ НЕИМОСРЕДСТВЕННОСТИ.

(По поводу забытаго тома сочиненій пр. Л. Н. Толстого).

Вышедшее въ свѣтъ еще одно изданіе сочиненій гр. Л. Н. Толстого, *) вѣроятно, также быстро разойдется, какъ и всѣ предыдущія; еще разъ съ жадностью перечтутся всѣ томы любимаго писателя,— а на долю одного изъ нихъ, вѣроятно, опять выпадетъ та-же скромная доля вниманія читателей—все тотъ-же традиціонный succès d'estime, какъ бы «изъ уваженія» лишь къ остальнымъ одиннадцати томамъ,— традиціонный потому, что и прежде, какъ теперь, публика наша все еще мало цѣнитъ, мало любить гр. Толстого, *какъ мыслителя*, такъ прочно сложилась про него репутація «слабаго мыслителя». Мы говоримъ о IV-мъ томѣ его сочиненій, въ который мало кто изъ читателей не-спеціалистовъ и заглядываетъ,—можеть быть, вслѣдствіе слишкомъ общаго заглавія этого тома—«*педагогическая*» статьи, хотя здѣсь очень и очень много найдется не педагогического и очень много, читатель, nomine mutato—de te fabula narratur! **) Если прежде можно было извинить эту невнимательность со стороны читателей, вытекавшую изъ полнаго незнакомства ихъ съ психологическою личностью автора «Исповѣди», то теперь, съ появленіемъ этой послѣдней (сущность ея всѣмъ можетъ быть известна изъ критического этюда покойнаго

*) Писано въ 1887 году.

**) Извѣнивъ названія, басня касается и тебя!

Громеки, выдержавшаго уже нѣсколько изданій), эти оправданія сами собою отпадаютъ. Примѣшавшееся сюда *субъективное* не должно насть смущать: личное *дѣло души* такихъ людей, то «выставленіе внутренней клѣти», за которое въ свое время такъ доставалось отъ публики Гоголю,—въ наше время можетъ и должно считаться нашимъ же собственнымъ дѣломъ, столь же близкимъ къ каждому изъ настъ, какъ и къ автору. Будущему принадлежитъ рѣшить, на сколько мы потеряли—и потеряли ли еще—въ томъ субъективномъ направлениі; которое характеризуетъ собою послѣдній періодъ дѣятельности такихъ нашихъ писателей, какъ Гоголь, Достоевскій, гр. Л. Толстой... Для людей нашей переходной, взбалмошной эпохи не хватитъ уже духу повторять вмѣстѣ съ Гёте, будто «всѣ эпохи упадка субъективны и, паоборотъ, всѣ прогрессивны эпохи имѣютъ объективное направлениe»... Сравните хоть отношенія нашей же публики къ двумъ такимъ, различнымъ по времени, но очень схожимъ по существу своему, литературнымъ явленіямъ, какъ «Исповѣдь» Гоголя, его знаменитая «Переписка съ друзьями» и «Исповѣдь» гр. Л. Толстого, его вся послѣдующая проповѣдь этическихъ идеаловъ! Громадная разница,—да иначе оно и быть не можетъ. Всякая философія есть *ея время*, переведенное въ мысли. Философскія и нравственные идеи гр. Л. Толстого нашли въ обществѣ подготовленную уже для воспріятія ихъ почву... Въ одной своей рѣчи, кажется въ 1872 г., *) К. Кавелинъ такъ выразился о поводахъ къ нарожденію у настъ *своей философіи*: «Что мы, русскіе, до сихъ поръ не имѣли философіи, доказывается только, что настъ ничто не заставляло еще глубоко задумываться... Человѣку и народу необходимы особенные, могучія побужденія, нужны глубокія противорѣчія въ жизни, большой внутренній разладъ, чтобы

*) Помѣщена въ «Литературномъ Сборникѣ» 1884 г.

заставить его подняться умомъ до высшихъ философскихъ вопросовъ и попытаться найти имъ рѣшеніе... А когда такой интересъ явится, будутъ у насъ и философскія ученія, и сильно отзовутся въ умахъ и сердцахъ!..» Пророческія слова сбываются. Кавелинъ указываетъ сейчасъ же и на тѣ ближайшіе поводы, которые могутъ вызвать у насъ свою философію. «...Есть, однако, и у насъ одинъ вопросъ, которому, кажется, суждено рано или поздно стать родоначальникомъ и источникомъ самостоятельного и народнаго философскаго мышленія. Такой вопросъ—наша *нравственность* личная несостоятельность и негодность, о которую скрушаются у насъ всякия благія начинанія, откуда бы они ни шли. Едва ли можно указать въ цѣлой исторіи другой примеръ подобнаго личнаго нравственнаго ничтожества, при такомъ величавомъ государственномъ развитіи!..» Какъ бы въ pendant къ этому, въ «Задачахъ психологіи», говоря, что индивидуальная жизнь поблекла, лицо утратило свое нравственное достоинство, онъ же говоритъ: «въ бесодержательной жизни современного человѣка не найти уже теперь болѣе сюжета ни для трагедіи, ни для драмы; скоро, кажется, не будетъ и для водевиля!..» На эти-то *пропущенные* нашей цивилизацией стороны духовнаго человѣка, на неустроенность, запущенность, бесодержательность и неопрятность душевной жизни современного человѣка указываетъ постоянно и гр. Толстой,—указываетъ и какъ художникъ, и какъ мыслитель; какъ мыслитель, слѣдя однако все же больше порядку своего непосредственного чувства (не уравновѣшеннаго у него такою же силой теоретической мысли), чѣмъ порядку спокойно-логическихъ доводовъ ума. Благодаря, вѣроятно, именно этому преобладанію въ немъ, какъ мыслитель, стороны чувства, страсти, ему не суждено бываетъ попадать, такъ сказать, въ центръ истины, откуда бы въ

равномъ разстояніи видны были всѣ крайнія точки ея круга: онъ какъ-то всегда очутится, какъ выражался про себя Бѣлинскій,—въ «периферіи»...

Выводы и сама истина такихъ натуръ всегда—крайность, односторонность. Если факты возмущаются, противясь диктатурѣ ихъ выводовъ, такие люди пожимаютъ плечами, какъ-бы и не желая вступать въ споръ: «тѣмъ хуже для фактovъ!» За то, правда, они не станутъ, при невозможности перевести свой идеаль въ действительность,—преобразовывать эту послѣднюю въ свой идеаль (на что всегда были охотники и мастера даже изъ патентованныхъ «великихъ» философовъ), не станутъ, въ нужныя минуты *дѣла* прибѣгать къ способу, такъ сказать, убаюкивающему расходившуюся мысль, едва она достигаетъ порога дѣянія. Бѣда же ихъ въ томъ, что разъ имъ посчастливится съ выводами, они неизменно хотятъ, чтобы *сейчасъ же*, безотлагательно и безъ возраженій, міръ устроился по образу хранящагося у нихъ въ душѣ идеала, иначе, не будучи въ состояніи примирить съ собою окружающей ихъ міръ, они удаляются съ жизненой сцены и пишутъ этому міру проклятие!..

IV-й томъ соч. гр. Толстого—весь, съ его крайностями,—рядъ тѣхъ противорѣчій, свидѣтельствующихъ о совершившемся развитіи самаго автора, которая увѣковѣчили для насъ одинъ изъ наиболѣе любопытныхъ моментовъ этого развитія. Если и каждый развивающійся человѣкъ интересенъ для нась самъ по себѣ, то человѣкъ, заслуживший наши общія симпатіи, интересенъ долженъ быть для нась вдвойнѣ, интересенъ каждую минуту, даже во всѣхъ своихъ уклоненіяхъ отъ истины! IV-й томъ, съ его противорѣчіями и «страшными словами», весь—opus operans этого мучительного духовнаго роста автора «Войны и мира». Лишь съ такой точки зрѣнія рассматриваемый, онъ получаетъ живой

интересъ современности, стороною своихъ противорѣчивыхъ выводовъ касаясь уже каждого изъ насть, нашего развитія и нашей эпохи; лишь съ особымъ, при чтеніи его, ударениемъ на моментъ *чувства*,—онъ становится понятнымъ, вызывающій на полезныя размышенія; иначе всѣ выводы его кажутся дикими, протестъ ничѣмъ не обусловленнымъ, сами статьи—бесвязнымъ лепетомъ «слабаго философа», какъ ихъ и считали въ свое время. Если это и философъ, то такой, котораго надо сначала полюбить, чтобы понять, а не наоборотъ,—у котораго истины истекаютъ изъ сердца въ разумъ, а не наоборотъ. Если въ этихъ статьяхъ и найдется «немножко философіи», то такой, которая разогрѣваетъ вмѣстѣ сердце и голову, которая присуща самому человѣку, его натурѣ!.. Не даромъ, по времени, статьи эти слѣдовали за «Дѣствомъ и отрочествомъ». Наша скромная задача—поставить читателя въ болѣе благосклонное отношеніе къ этому тому, заставить его заинтересоваться имъ и вмѣстѣ съ тѣмъ попытаться какъ-нибудь разрѣшить наѣваемыя имъ сомнѣнія,—доказать на самомъ художникѣ возможность прийти къ инымъ выводамъ при той же постановкѣ проблеммы.

Посмотримъ же сначала на него съ указанной точки зрењія,—въ томъ положеніи дисгармонирующихъ началь его духа, не примиренныхъ еще въ живомъ синтезѣ, гдѣ онъ, разъединенный еще и не сознавшій тождества глубокаго чувства своего съ разумомъ, любви съ сознаніемъ, страстно ищетъ недостающей и необходимой его духу гармоніи. (Изъ статей IV-го тома, заслуживающихъ въ этомъ отношеніи вниманія, укажемъ на статьи: «Воспитаніе и образованіе», «Прогрессъ и опредѣленіе образованія», «Кому у кого учиться писать: крестьянскимъ ребятамъ у насть или намъ у крестьянскихъ ребятъ?» и «Отчеты Ясно-Полянской школы за

ноябрь и декабрь мѣсяцы». .. Будемъ нарочно, предупреждаемъ, скучы на выписки, чтобы склонить тѣмъ самымъ читателя—перечесть самому указанная статьи. Ручаемся, что онъ не будетъ жалѣть о потраченномъ времени).

Моментъ *непосредственно ти*, утраченной художникомъ,—непосредственность чувствъ, непосредственность взрѣнія на жизнь и людей—у него теперь на первомъ планѣ. Идеализируется все, что такъ или иначе вовлочаетъ въ себѣ эту непосредственность, все, что болѣе или менѣе приближается къ идеалу завидной автору цѣльности, гармоничности, полноты... Соответственно этому называется испорченнымъ, ложнымъ, болѣйшимъ и заносчивымъ все, что усилило уже выйти изъ непосредственности, въ чемъ родилась рефлексія, что заразилось уже знаніями, искусствами и другими «баловствами» цивилизациіи. Отрицается воспитаніе, его законность, по той простой причинѣ, что ребенокъ стоитъ ближе каждого взрослого къ «идеалу гармоніи, правды, красоты и добра». Онъ убѣженъ, что «всякий воспитатель только потому (?) можетъ съ такимъ жаромъ заниматься воспитаніемъ ребенка, что въ основѣ этого стремленія лежитъ зависть къ чистотѣ ребенка и желаніе сдѣлать его похожимъ на себя, т. е. больше испорченнымъ» (125). Ибо гр. Толстой, вмѣстѣ съ Руссо, полагаетъ, что человѣкъ рождается на свѣтѣ совершеннымъ, представляя собою первообразъ безусловной гармоніи, правды, красоты и добра, и что лишь предоставленный самому себѣ, онъ, въ дальнѣйшемъ своемъ ростѣ, могъ бы еще хоть нѣсколько «поддерживать» въ себѣ эту гармонію... Но вотъ бѣда: его начинаютъ «воспитывать», и вотъ, каждый день, каждый часъ въ жизни этого ребенка все больше и больше удаляеть его отъ этого перв-

вообраза... «Воспитаніе есть возведенное въ принципъ стремленіе къ нравственному деспотизму! Воспитаніе есть стремление одного человѣка сдѣлать другого такимъ же, каковъ онъ самъ (стремленіе бѣднаго отнять богатство у богатаго, чувство зависти стараго при взглядахъ на свѣжую молодость,—чувство зависти, возведенное въ принципъ и теорію)» (129). Поэтому и права воспитанія не существуетъ... «Я не признаю его, ве признаеть, не признавало и не будетъ признавать его все воспитываемое молодое поколѣніе, всегда и вездѣ возмущающееся противъ насилия воспитанія...»

Отъ дѣтей перейдемъ къ народу—такому же какъ и они, носителю завидныхъ автору душевныхъ качествъ гармоніи, цѣльности, непосредственности и т. п. Говоря, напр., о беллетристическихъ опытахъ крестьянскихъ ребятъ, учениковъ его Ясно-Полянской школы, въ статьѣ «Кому у кого учиться писать: крестьянскимъ ребятамъ у пасъ или намъ у крестьянскихъ ребятъ», идеализирующій авторъ такъ, напр., говорить о разсказѣ, написанномъ Федькою: «Я долго не вѣрилъ тому, что испыталъ вчера. Мнѣ казалось столь страннымъ, что крестьянскій полуграмотный мальчикъ вдругъ проявляеть такую *сознательную* силу художника, какой на *всей своей необъятной высотѣ развитія* не можетъ достичь Гёте. Мнѣ казалось столь страннымъ, что я, — заслужившій уже нѣкоторый успѣхъ и признаніе художественнаго таланта отъ русской образованной публики,—что въ дѣлѣ художества я не только не могу указать или помочь 11-ти лѣтнему Семкѣ или Федькѣ, а что едва-едва—и то только въ счастливую минуту раздраженія—въ состояніи слѣдить за ними и понимать ихъ» (227). Тоже со всеми произведеніями народнаго творчества. *Страшно сказать:* я убѣдился что все, что мы сдѣлали по этимъ двумъ отраслямъ (по музыкѣ и поэзіи), все сдѣлано по ложному исключительному пути, исимѣющему значенія,

неимѣющему будущности и ничтожному въ сравненіи съ тѣми произведеніями тѣхъ же искусствъ, образчики которыхъ мы находимъ въ народѣ. Я убѣдился, что лирическое произведеніе, какъ напр., «Я помню чудное мгновеніе», послѣдняя симфонія Бетховена,—не такъ безусловно и всемирно хороши, какъ пѣсня о «Ванькѣ Клюшнике» и напѣвъ «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ», что Пушкинъ и Бетховенъ правятся намъ не потому, что въ нихъ есть абсолютная красота, а потому, что мы также испорчены какъ Пушкинъ и Бетховенъ, потому что Пушкинъ и Бетховенъ одинаково льстятъ нашей уродливой раздражительности и нашей слабости» (308).

Самое требование невмѣшательства въ дѣло образованія народа, противящагося будто бы принимать *наше* образованіе,—и есть плодъ этого убѣжденія гр. Толстого въ нашей глубокой «испорченности». Отсюда, конечно, уже рукой подать до отрицанія всякой цивилизациіи, что онъ и дѣлаетъ. Народъ, по его мнѣнію, благъ отъ литературы нашей никакихъ не получаетъ и не будетъ получать (ибо для этого ему надо перестать быть тѣмъ, что онъ есть—«человѣкомъ удовлетворяющимъ самъ всѣмъ своимъ потребностямъ»); не получаетъ народъ никакихъ выгодъ и во всемъ вообще *нашемъ* прогрессѣ (приводятся доказательства), а такъ какъ народа больше, чѣмъ общества, то и большая доля правды—на его сторонѣ; а правда эта—та, что прогресса никакого нѣтъ, да и не было никогда.

Образовываются, такимъ образомъ, у гр. Толстого два типа (именно типа—такъ рѣзко обозначена у него разграничитывающая ихъ во всемъ линія!): «гармоническій», нетронутый еще цивилизациою народъ, самъ удовлетворяющей всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ,—и мы, уже тронутые ею, кичащіеся ею передъ младшею пашею братіей, на которыхъ гр. Толстой уже махнулъ рукой: «Лѣкарство,

говорить онъ, куплено (гимназіи, университеты и т. п.)— надо его выпить». Съ одной стороны, здоровая непосредственность, чистота и ясность души разныхъ Лукашекъ и Илюшекъ, завидныя автору «Казаковъ»; съ другой стороны, *человекъ со своими «Ванькою-Клюшикомъ» и «Вниѣ по матушкѣ по Волгѣ»*; съ другой—больной, *скучающій пессимистъ*, у которого рефлексія усилила окончательно надорвать свѣжесть и живость непосредственныхъ чувствъ, утратившій *Wille zum Leben* (охоту жить) и вѣчно на то кому-то жалующійся, забывая, что о томъ, вкусны ли вишни, нужно спросить у дѣтей да у воробьевъ; съ другой—Пушкинъ, Бетховенъ и мы, «уродливости и раздражительности» которыхъ эти господа льстятъ... Но тѣхъ (народа)—милліоны, а нась тысячи,—и потому гр. Толстой склоняется на ихъ сторону. Конечно, не знай мы ничего объ этомъ гр. Толстомъ, о всѣхъ перипетіяхъ закончившейся уже его душевной драмы,—можно было бы подумать, что все это высказано имъ совершенно свободно, объективно и безотносительно, что все это безстрастно и свободно взвѣшено и обдумано прежде, чѣмъ явилась роковая его резолюція склониться на ту, а не на эту сторону. Тѣмъ болѣе легко было бы такъ подумать, что въ IV-мъ томѣ, на этотъ счетъ, соблюдены даже *les apparences*,—выдержана видимость *спокойнаго* расчета: «тѣхъ миллионы, а нась тысячи»—только потому....

Въ pendant къ этому и чтобы поставить васъ у той отправной точки этихъ мыслей, съ которой вамъ виднѣе былбы перспектива дальнѣйшаго ихъ хода,—мы попросимъ читателя припомнить тотъ очеркъ Гл. Успенскаго, *) гдѣ онъ, приведя формулу прогресса, по определенію Н. К. Михайловскаго **)

) «Скучающая публика» («Русск. Мысль»* 1884, № 11).

**) «Прогрессъ есть постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между ихъ органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми (т. е. самими недѣлимыми). (*«Что такое прогрессъ?»* IV т. соч. Н. Михайловскаго).

и выведя, съ одной стороны, типъ вполнѣ гармонического, «цѣлостнаго» деревенскаго человѣка, «удовлетворяющаго самъ всѣмъ своимъ потребностямъ» (выраженіе Л. Толстого),—типъ, вполнѣ удовлетворяющій, по мнѣнію Гл. Успенскаго, требованіямъ приведенаго научнаго опредѣленія *прогресса*, а съ другой стороны, выведя такого же деревенскаго человѣка, но уже пожелавшаго почему-то иромѣнѣть благообразіе «гармонического человѣка» на неблагообразіе просто «человѣка» —слуги, и начинающаго, вслѣдствіе этого, вести себя и выражаться совсѣмъ уже иначе (хотѣть, напр., «*пріобрѣсти* себѣ комнату въ чистоту» и т. п.) —заканчиваетъ свой очеркъ такими словами: «И ничего не было бы желательнѣе, если бы этотъ *типъ* (гармоническаго земледѣльца) распространялся на Руси, входилъ бы въ моду среди образованныхъ людей подростающаго поколѣнія, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ же размѣрахъ, какъ вошелъ, напр., типъ адвоката, т. е. человѣка хотя и умнѣйшаго и ученицѣйшаго, а, все таки, вполнѣ зависящаго, съ позволеніемъ сказать, отъ всякой кляузы...»

По гр. Толстому, мы забрались слишкомъ далеко; *тѣ* же еще и не начинали, отсюда и диссонансъ между тѣми и другими. Но не подвинуть тѣхъ къ намъ мы должны,—мы, сами искалѣченные,—а сами должны къ нимъ отодвигнуться; «гармонія», которой мы такъ страстно ищемъ, —*тамъ* и не парашалась; мы ей завидуемъ, слѣдовательно и идеаль нашъ тамъ... Дальше пдти намъ, развиваться—и не нужно, —это значило бы продолжать добровольно «калѣчить себя» *ad infinitum*, —нужно просто постараться вычеркнуть, забыть уже сдѣланное—и очутиться,—чѣмъ скорѣе и искреннѣе, тѣмъ лучше,—на первобытной начальной ступени, гдѣ мы сравняемся съ *тѣми* и гдѣ не нужны уже будуть намъ никакія «баловства» калѣчащей лишь нась цивилизаци—

ни знанія, ни науки и искусства, ни самоанализъ съ его тяжкими муками и разъѣдающими сомнѣніями,—очутиться сразу, съ вызваннымъ изъ собственной же груди и успѣвшимъ уже раздвоить насъ духомъ, отъ которого, подъ часъ, и сами мы рады бы и готовы, подобно Фаусту, отказаться, чувствуя, какъ онъ намъ не по груди, не по головѣ! Но— вотъ несчастье! Духъ этотъ не можетъ исчезнуть, будучи разъ вызванъ... Мефистофель,—этотъ, по опредѣленію Тургенева, бѣсь каждого человѣка, въ которомъ родилась рефлексія, вызванъ не изъ какой нибудь преисподней, а изъ той же, собственной груди человѣка! *Tu l'as voulu, Georges Dandin, tu l'as voulu!* И некуда ему, поѣтому, исчезнуть, нельзя отъ него отказаться или прогнать заклинаніями,— вездѣ онъ съ своими вопросами, вездѣ, гдѣ самъ носитель его—человѣкъ, куда бы онъ не отвернулся отъ него! А главное: зависть къ той «гармоніи», «цѣльности» и непосредственности, которыхъ мы такъ склонныя идеализировать въ простыхъ, заурядныхъ людяхъ массы, и утрату которыхъ въ насъ самихъ гр. Толстой ставить въ вину «развитию»,—не есть-ли, напротивъ того, зависть къ тому именно, что мы *должны еще* завоевать себѣ, а не проклятие тому, что уже успѣли сдѣлать? Зависть эта дѣйственно-ли отъ того, что мы *слишкомъ далеко* «забрались», а не отъ того ли, что, забравшись, что называется, *стали*?

Центръ тяжести всего вопроса, какъ онъ долженъ быть бы представляться самому гр. Толстому, прежде чѣмъ онъ успѣть формулировать его въ рядѣ указанныхъ нами крайнихъ положений его IV^o тома,—можетъ заключаться въ слѣдующемъ: развитие,normally совершающее, должно ли, въ конечномъ своемъ результатахъ, влечь непрѣжно нарушеніе цѣльности личности и ея духовныхъ отправлений, утрату гармоніи духовныхъ способностей и силъ,—или, напротивъ,

возможно такое поступательное движение и развитие, при которомъ все это, потерянное въ началѣ развитія, можетъ быть вновь пріобрѣтено или сохраниено? Вѣдь отъ того или другого рѣшенія этого вопроса зависитъ—подумайте только—участь каждого, впервые подходящаго къ заманчивымъ дверямъ храма' знанія, на которыхъ онъ давно привыкъ читать слова надежды, замыляемыя для него теперь гр. Толстымъ страшными буквами Дантовскаго стиха на дверяхъ ада: «оставь всякую надежду...» Возможна ли, въ процессѣ развитія, такая ступень, стремясь неустанно къ которой, мы могли бы вновь пріобрѣсти потерянныя нами при началѣ этого развитія духовныя качества естественной непосредственности и гармоніи? Если возможна, то какими признаками будутъ характеризоваться тѣ указаныя качества, которыя мы вновь пріобрѣтаемъ?

Нужно помнить, что самой цивилизациѣ нашей было бы слишкомъ несправедливо поставить въ вину такой, напр., фактъ, какъ существованіе—наряду съ людьми истиннаго образованія—тѣхъ ея поборниковъ, которые, сами не желая распахнуть ничему всю свою грудь, а лишь помазавшись культурнымъ лоскомъ, являютъ собою печальный примѣръ, въ лучшемъ еще случаѣ, полного разлада ума съ сердцемъ, а въ большинствѣ случаевъ—тѣхъ знакомыхъ намъ субъектовъ, которые, подобно Мольеровскимъ «жеманницамъ» или Гоголевскимъ «пріятнымъ во всѣхъ отношеніяхъ дамамъ»—Авдотьямъ Кукшинымъ или, наконецъ, выведенному Успенскому «человѣку», желающему пріобрѣсти въ чистоту комнату,—начинаютъ, лишь только вкусять отъ плодовъ «цивилизациі», говорить и держать себя такъ, какъ не умѣеть простой человѣкъ, дѣйствительно «великій», въ сравненіи съ ними, по самой натуральности своей. Но такимъ «вели-

кимъ» онъ уже не будетъ представляться, напр., человѣку воспитавшему себя, кромѣ того, и нравственно. Не будучи невѣждою, не будетъ ли онъ также натураленъ, также простъ и естественъ, какъ и тотъ, который всѣмъ этимъ обладаетъ при своемъ полномъ невѣжествѣ? Паскаль говоритъ, что наука имѣть двѣ крайности: первая есть то чистое невѣдѣніе, въ которомъ находятся всѣ люди при рождениі; въ другую крайность впадаютъ души великия, которыхъ, пройдя все, что могутъ познать люди, видять, что они ничего не знаютъ и находятся въ томъ же невѣдѣніи, съ котораго начали. Вышедши же изъ невѣдѣнія естественаго и не достигши другого,—принимаютъ оттѣнокъ самодовольства и выказываютъ себя знатоками (*Pensées*). Односторонность, «разсудочность» (или «уродливость», какъ говорить гр. Толстой), обусловливающія собою нарушеніе цѣльности человѣка, суть одинъ изъ неизбѣжныхъ моментовъ развитія его, но лишь моментъ, и притомъ моментъ *становленія*, на которомъ человѣкъ съ живою душою не долженъ, *motu proprio*, останавливаться, ибо односторонность эта для него лишь *ступень*, а не цѣль, каковою она дѣйствительно кажется въ большинствѣ случаевъ при современномъ, исключительно разсудочномъ, характерѣ нашего образованія. Можно сказать, что, напротивъ, процессъ развитія если и требуетъ въ началѣ пожертвовать одною стороною духовнаго человѣка, иначе — пожертвовать гармоніею и цѣльностью духовныхъ его от правленій, то лишь съ тою перспективою въ концѣ, чтобы изъ личности, непосредственно-естественной сдѣлаться личностью сознательной и свободно-разумной, которой ничто человѣческое не будетъ чуждо, чтобы, умирая въ непосредственности безсознательно-естественной, воскреснуть въ непосредственность сознательно-духовную (человѣкъ, напр., дошедшій до полнаго сознанія своей личности и ея

достоинства, будетъ поступать такъ, а не иначе уже потому, что ему такъ поступать легче, пріятнѣе, естественнѣе), завершить всестороннее развитіе своей личности черезъ самоизначеніе, при которомъ индивидуумъ *приводитъ* себя къ тому, чѣмъ онъ долженъ быть, къ чему родился, при которомъ онъ не дѣлается другимъ, а лишь *самимъ собою*. Въ этомъ, повидимому, крошечномъ счастьи, въ этой замѣнѣ состоянія *казаться* (das Scheinen) состояніемъ *бытия* (das Sein) заключено, на самомъ дѣлѣ, такъ много, что его, этого счастья, вполнѣ достаточно, чтобы стать достойнымъ вѣнцомъ всѣхъ сдѣланныхъ нами усилий, всѣхъ понесенныхъ нами жертвъ! Все тогда возвращается къ намъ вновь,—все, потерянное было въ началѣ, по возвращается уже получившимъ, такъ сказать, высшее освѣщеніе!

Левину Толстаго не удалось вернуться къ простотѣ и безъискусственности непосредственного быта «простыхъ рабочихъ людей», невозмущаемыхъ никакими высшими вопросами нашего духовнаго бытія,—но самому Толстому, выстрадавшему вмѣстѣ со своимъ послѣднимъ романомъ и свое этическое перерожденіе,—удалось, въ концѣ концовъ, привести себя къ тому, чѣмъ онъ долженъ быть давно, къ чему родился... Весь смыслъ жизни такихъ натуръ Левинскаго склада съ ихъ болѣе развитою центростремительною, чѣмъ центробѣжною силой сознанія—заключается въ постоянномъ, непреоборимомъ стремленіи ихъ къ личному совершенствованію, но горе ихъ въ томъ, что они страшные эстетики и идеалисты и потому многое изъ окружающего ихъ готовы принимать за потребный имъ идеаль, тогда какъ онъ—единственный для нихъ и у нихъ же всегда подъ рукой, а они, страдальцы, подобно древнему Улиссу, плаваютъ цѣлые годы около своей Итаки, не узнавая ея, уносимые вихремъ мірской, свѣтской жизни!

Долго онъ принималъ форму, красивую внѣшность за суть своего идеала, долго примѣривалъ онъ къ себѣ или, лучше, себя примѣривалъ то къ тому, то къ другому идеалу совершенства, не зная, чѣмъ быть или казаться лучше, красивѣе: онъ вѣрилъ въ совершенствованіе, но «въ чёмъ было это совершенствованіе и какая была его цѣль,— онъ не могъ бы сказать; онъ старался «совершенствовать себя умственно, старался совершенствовать свою волю... Но скоро желаніе быть лучше передъ собою или передъ Богомъ уступило мѣсто желанію быть лучше передъ другими людьми... Стремленіе къ нравственному усовершенствованію подмѣнивается стремленіемъ къ усовершенствованію вообще, къ прогрессу... Дѣло не въ названіяхъ, ибо ихъ можно сколько угодно прибрать (благо они такъ всѣ туманны и неопределены), для обозначенія красоты эстетического идеала, а въ томъ, что здѣсь происходитъ съ нимъ именно то, что мы говорили: единственно потребный ему идеалъ *этический* смышливается пмъ съ идеаломъ *эстетическими*,— определенное стремленіе къ усовершенствованію нравственному «подмѣняется» стремленіемъ къ какому-то неопределенному усовершенствованію «вообще», къ «прогрессу»... Въ эти «примѣриванья», не забудьте, ушла добрая половина, если не болѣе, жизни его, чрезъ которую красною нитью проходитъ одно явленіе, одна цѣль — *быть лучше*, но все это къ несчастью, съ совершенно невыясненнымъ, несознаннымъ до болѣе осозаемыхъ формъ внутреннимъ идеаломъ этическимъ, который постоянно смышливался у него со схожимъ ему виѣшнимъ идеаломъ эстетическимъ, служеніе истинной красотѣ — добра съ служеніемъ «красотѣ вообще»:

«Сколько разъ ухитрялся я скрывать въ писаніяхъ своихъ, подъ видомъ равнодушія и даже насмѣшки, тѣ затаенные стремленія души своей къ *истинной красотѣ добра*, такое

странное развитіе которыхъ составило позже оправданіе и смыслъ моей жизни!...»

Въ жертву этому самопознанію, самоопределѣнію принесено все то, о чёмъ мы говорили выше и что должно быть принесено каждымъ, начинающимъ тернистый и исполненный опасностей путь своего духовнаго развитія: и цѣлостъ непосредственнаго чувства, и полнота или гармонія естественныхъ силъ, и эгоистическое счастье тѣхъ посредственныхъ и дѣланыхъ натуръ, никогда въ своей жизни не «нарушавшихся», которыхъ, вылившись разъ и павсегда, чуть не съ 14 лѣтъ, въ известную форму и въ иной застывиши, на всю жизнь,—имѣютъ счастье считать себя цѣлыми, никакими внутренними противорѣчіями исмущаемыми и вѣчно довольными...

И такъ — вотъ тотъ критическій моментъ «становленія», на которомъ мы застаемъ автора «Исповѣди», какъ онъ весь выразился еще залолго до этой «Исповѣди» — въ IV томѣ своихъ сочиненій. Онъ уже, правда, у порога *своего* идеала, но пока все-таки еще не достигъ его; пока мы только видимъ, дополняя недосказанное позднѣйшими признаніями автора, на мѣстѣ утраченныхъ имъ и идеализируемыхъ въ другихъ непосредственности и гармоніи духа — царство разъѣдающей рефлексіи, односторонность и всѣ мучительныя перипетіи отчаянной внутренней борьбы за пріобрѣтеніе себѣ необходимой гармоніи примиреніемъ взаимно борящихся началь его духа; сила жизни, самый ся смыслъ, казалось, тоже утрачены... Человѣкъ безъ доброй половины своего духовнаго существа! Но на долго ли? Не моментъ ли это только въ развитіи его, — остановится ли онъ па немъ, — не близокъ ли онъ уже къ завѣтной цѣли своей? Да скоро онъ *почув-*

ствуетъ, гдѣ онъ заблуждался, въ чёмъ *наши* уклоненія и, черезъ провѣрку на простотѣ народа своего міросозерцанія, обрѣтеть *вновь* все потерянное, начиная съ самаго себя,— сдѣлается-таки, наконецъ, этимъ «самимъ собою», не сомнѣвающимся уже болѣе, что ему дѣлать, зачѣмъ жить!... Все вернется къ нему вновь, но вернется уже получившимъ другое, высшее освѣщеніе: вернется къ нему его дѣтская и юношеская вѣра въ Бога, въ нравственное совершенствованіе, въ значеніе и смыслъ здѣшней жизни, но примется имъ все это теперь уже сознательно, какъ цѣль, какъ смыслъ жизни—единственные, никакою случайностью «предстоящей ему и неизбѣжной смерти» не уничтожимые, ибо онъ пойметъ и убѣдится въ томъ, что

Жизнь хороша, а мы были гадки!...

Скажемъ ли мы, однако, что онъ вернулся къ примитивнымъ формамъ той самой естественной непосредственности, которая ему столь привлекательной казалась прежде въ массѣ? скажемъ ли, что міросозерцаніе его, выработанное долгою и упорною борьбою слился *безъ остатка* съ міросозерцаніемъ этой массы, что смыслъ жизни сталъ имъ исповѣдываться буквально также, какъ онъ понимается грубою массой, что гармонія вѣрованій и дѣйствій, столь поразившая его въ бытѣ «простыхъ рабочихъ людей», сдѣлалась для него столь же легко и безсознательно достижимой, какъ и для массы? Нѣть! Мы скажемъ, что, напротивъ, теперь онъ можетъ, *за*вѣдомо для самого себя, отрицаясь всѣхъ пройденныхъ стадій资料 своего развитія, какъ ненужныхъ, отрицаясь культуры нашей и всѣхъ «баловствъ» ея,— достигнуть, *благодаря* *только* именно пройденному самимъ пути, той безконечно высшей ступени, гдѣ онъ уже *переболѣлъ* насъ,—любить и жалѣсть насъ, гдѣ порукой ему этой высоты достигнутой

ступени служить самая *смълостъ отрицанія*, которой нѣть ни тамъ,—въ этихъ «гармоническихъ» простыхъ и наивныхъ людяхъ, гармоническихъ, такъ сказать, *malgr * eux, которые сами этого непонимаютъ и потому не застрахованы отъ гибели,—ни въ большинствѣ изъ насъ, людей односторонней полноты, *fustе milieu*, опочившихъ на полдорогѣ, чаше всего безо всякой даже завѣсти къ какой-то тамъ «утраченной гармоніи» и т. п. По словамъ Данте, самъ Сатана субъектъ достойный похвалы, въ сравненіи съ этими людьми *fustе milieu*, занимающими въ его «Адѣ», подъ ярлыкомъ людей «ничтожныхъ», весь верхній объемъ его адской воронки—самое, следовательно, обширное пространство—и присужденными къ страшному наказанію: они не надѣются умереть...

Ихъ въ мірѣ слѣдъ простыя быстрѣе дыма.
Что говорить о нихъ? Взгляни и—мимо! *)

И такъ, эстетикъ, жрецъ «красоты силы», художникъ съ прежнимъ своимъ творчествомъ развѣнчанъ теперь въ нашемъ авторѣ и развѣнчанъ имъ же самимъ; на мѣсто ихъ становится этикъ, поборникъ «истинной красоты добра», нравственно совершенствующій себя человѣкъ, отрицающій *ad hoc* искусство и свое прежнее творчество! На самомъ же дѣлѣ такъ ли велика пропасть, раздѣляющая то и другое? Этическое должно ли было уничтожить въ немъ эстетическое! Нѣть, оно лишь претворило его, расширило его содержаніе; ибо красота нравственного добра не та же ли красота,—лишь съ болѣе развинутыми рамками этого же понятія въ эстетическомъ смыслѣ,—красота высшаго, такъ сказать, порядка? Разница лишь та, что служеніе ей становится сознательнымъ долгомъ, заставляющимъ повсюду

*) Слова Виргилія, обращенные къ Данте.

усматривать задачи; талантъ художника, изъ источника собственной забавы дѣлается *призваниемъ*, этически выбраннымъ... Въ процессѣ развитія творчества, какъ и въ духовномъ развитіи самаго человѣка, *моментъ* утраты непосредственности влечетъ за собою одинаковыя слѣдствія, будеть-ли то для творчества или для самаго человѣка...

Гёте говорилъ про себя, что онъ предподпитаетъ, чтобы для него, какъ художника, оставался скрытымъ тотъ принципъ, въ силу котораго онъ работаетъ. «Счастье наше. писалъ Бѣлинскій, что натура Пушкина не поддалась рефлексіі: оттого онъ и великий поэтъ»... «Страшно, говорилъ тотъ же Бѣлинскій, подумать о Гоголѣ: вѣдь во всемъ, что онъ написалъ—одна натура—какъ въ животномъ!» Представьте же себѣ теперь, что такой художникъ, какъ Гоголь, творящій непосредственно, безсознательно, какъ бы по инстинкту, вздумаетъ сознательно начать себѣ опредѣлять тотъ принципъ, въ силу котораго онъ творить, какъ художникъ, иожеластъ сознательно опредѣлить съ этической стороны себя—эстетика. Разумѣется, что процедура эта, будучи начата *во время* творчества, въполномъ развитіи художественной дѣятельности писателя, творящаго таѣ непосредственно,—пенишумо висесть въ душу и умъ его разладъ, рефлексію, которая убьетъ напосредственное творчество, и не дастъ сознательного, и въ конечномъ своемъ резултатѣ также фактически лишить насъ въ писателѣ *художника*, на мѣсто котораго становится этически совершенствующій себя человѣкъ, который,—продолжая, какъ бы по инерціі, разъ начатую дѣятельность *писателя*,—пишетъ и проповѣдує уже въ духѣ идеаловъ исключительно этическихъ, съ которыми связано дѣло его собственнаго «я», его личнаго развитія. Невозможно безъ искренняго участія читать эти строки Гоголя изъ его «Авторской исповѣди», эту писанную имъ

какъ бы «отходную» надъ умершимъ въ немъ самомъ художнико:

«Какъ полетѣть воображеніемъ, если бы оно и было, когда разсудокъ на всякомъ шагу задаетъ вопросы: зачѣмъ?... Зачѣмъ случились такія обстоятельства, которыхъ я не призывалъ? Зачѣмъ мнѣ опредѣлено было не иначе пріобрѣсти познаніе души человѣческой, какъ произведя строгій анализъ надъ собственной душой?... Зачѣмъ вѣнцомъ всѣхъ эстетическихъ наслажденій во мнѣ осталось свойство восхищаться красотой души человѣка вездѣ, гдѣ бы я ее ни встрѣтилъ?... Отвѣтьте мнѣ прежде, зачѣмъ все это произошло,—и тогда спрашивайте: зачѣмъ я немогу уже писать того, что писалъ?...» *)

Зачѣмъ же понадобилось ему пріобрѣтать это «познаніе души человѣческой» путемъ познанія своей собственной? Безъ этого, онъ, видите ли, «не можетъ» уже приступить къ дѣлу: онъ хочетъ писать сознательно, не想要 оправдывать собою слова, сказанныя про него Бѣлинскимъ. Онъ уже теперь думаетъ иначе: «Нужно,—говорить онъ,—чтобы въ созданіи автора жизнь сдѣлала какой-нибудь шагъ впередъ... Писатель творить свое твореніе въ поученіе людей... Такъ, по крайней мѣрѣ, опредѣляютъ поэтовъ и писателей эстетики, какъ пынѣшняго времени, такъ и прежнихъ временъ».**) «...Словомъ, я видѣлъ ясно, какъ дважды два четыре, что покамѣсть не опредѣлю самому себѣ высокое и низкое, хорошее и дурное природы нашей,—мнѣ нельзя приступить къ дѣлу» (800). Сравните, кстати, эти строки изъ Исповѣди Гоголя со слѣдующими изъ «Исповѣди» гр. Толстого (цитируемъ по Громекѣ): «Писательскіе взглѣды подъ распущенность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала:

*) Тамъ же 814.

***) «Авторская исповѣдь», соч., IV томъ, 811—812.

«жизнь,—говорили они,—вообще идетъ развиваюсь... Главное вліяніе имѣемъ мы—художники и поэты. Наше призваніе—учить людей, не зная чemu: художники-де и поэты учать безсознательно... Но скоро я понялъ, что въ своемъ самообольщениі мы не знали самаго главнаго,—что на самый простой и вмѣстѣ важный вопросъ жизни: что хорошо, что дурно—мы не умѣемъ найти никакого точнаго отвѣта...» И тамъ, и здѣсь мы видимъ, что авторы наши предпринимаютъ, въ зрѣлыхъ уже лѣтахъ, въ поискахъ за истиной, за вопросами добра и зла, работу, которую слѣдовало бы сдѣлать въ юности,—работу, благодѣтельную для ихъ личнаго, нравственнаго и умственнаго развитія, но въ то же время убивающую въ корнѣ ихъ способность къ прежней безсознательной творческой дѣятельности. Сколько, подумаешь, времени нужно было одному для того, чтобы только сдѣлаться «самимъ собою»—и, вѣдь, будь только иныхъ условія среды, окружавшей его молодость (онъ говорить, что онъ всегда оказывался одинокимъ каждый разъ, когда хотѣлъ сдѣлаться лучшимъ), и онъ бы могъ, давнымъ-давно покончивъ съ вопросомъ нравственнаго самовоспитанія—вопросомъ молодости прежде всего, а не зрѣлыхъ лѣтъ,—выступить на свое художественное поприще вполнѣ сознательнымъ, сформировавшимся «гражданиномъ земли своей», безъ этихъ уже помѣхъ субъективнаго свойства, лишившихъ насъ въ немъ такъ рано великаго художника. Сколько, съ другой стороны, несчастныхъ условій въ развитіи Гоголя! «Я, говорить онъ, получилъ въ школѣ воспитаніе довольно плохое, а потому и немудрено, что мысль объ ученьѣ пришла ко мнѣ въ зрѣломъ возрастѣ. Я началъ съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать ихъ и скрывалъ всѣ свои занятія...» (т. 4, стр. 800—801). Но во всякомъ случаѣ, если все указанное и составляетъ потерю, то потерю, по-

вторяемъ,—для нась лишь, собственно читателей, требующихъ отъ искусства и художника одной лишь «пѣсни торжествующей любви», тому только и вѣрящихъ, что намъ пріятно говорится, что намъ нравится...

Но если это потеря для нась, то мы не можемъ того же сказать про нашего автора: мы знаемъ благодѣтельность для него достигнутыхъ имъ самимъ конечныхъ результатовъ своего развития, начатаго такимъ страшнымъ разладомъ его духовныхъ силъ и законченного примиренiemъ ихъ на почвѣ этически выбранной, сознательной дѣятельности. Мы и взялись говорить о благодѣтельности для него самого этихъ результатовъ, ибо для нашей цѣли было именно важно нашемъ самому доказать возможность такого развития, которое допускаетъ все-таки сохранение или, лучше, новое приобрѣтеніе той самой «гармоніи» и цѣльности духовныхъ отправлений личности, которыя были ею утрачены при выходѣ изъ естественной непосредственности, и доказать это,— замѣтьте,—ставя себѣ идеаль нашъ *впереди* нась, а не позади, ставя себѣ, какъ цѣль, достижение той высшей гармоніи, къ которой намъ *должно* еще приблизиться, а не той низшей, отъ которой мы отклонились при началѣ развития нашего, и которая, въ этомъ смыслѣ допускаетъ лишь самую условную идеализацию, — поскольку лишь она выражаетъ собою случайный прообразъ той высшей, которую мы должны еще завоевать себѣ, поскольку эта низшая гармонія количественно выражаетъ недостающую еще намъ ступень въ развитии при поступательномъ движении нашемъ *шире vorwärts.* *)

*) Ссылаясь на выводы немецкой философіи, можно даже доказать, что въ этомъ страстномъ отношеніи (какое, напр., проявляетъ гр. Толстой), въ этой зависимости къ первобытнымъ свойствамъ цѣльности, гармоніи, непосредственности, простоты и т. п.—есть нечто *необходимое*, даже и законное, и именно потому, что, въ процессѣ развития нашего, эти первобытныя свойства, будучи, съ одной стороны, *низшего* формою человѣческаго развития—съ другой, по

Въ одномъ мѣстѣ своего IV-го тома гр. Толстой говорить, что необходимый (роковой, неизбѣжный) законъ развитія человѣка есть не только не средство къ достижению того идеала гармоніи, которой мы носимъ въ себѣ (въ дѣтствѣ), но есть препятствіе, положенное Творцомъ къ достижению высшаго идеала гармоніи, и что въ этомъ-то необходимомъ законѣ движенія впередъ (т. е. уклоненіи отъ первоначальнаго идеала гармоніи) и заключается смысль того плода древа и зла, котораго вкусили нашъ праородитель. Гр. Толстой признаетъ, что человѣкъ рождается совершеннымъ, представляя собою первообразъ гармоніи, правды, красоты и добра. Но каждый шагъ въ жизни его грозить нарушеніемъ этой гармоніи и каждый послѣдующій шагъ, каждый послѣдующій часъ грозятъ новымъ нарушеніемъ—и не даютъ надежды на возстановленіе нарушенной гармоніи (249).

выводамъ указанной философіи, должны быть и высшую формулою этого развитія. Философскія системы Шеллинга и Гегеля раскрыли, какъ извѣстно, общія формы, по которымъ движется процессъ всякаго развитія. Сущность Шеллинговской системы заключалась въ той аксиомѣ, что *по формѣ* высшая степень развитія сходна съ началомъ, отъ котораго она отправляется, т. е. высшая степень развитія представляется по формѣ возвращеніемъ къ первобытному началу развитія. Но само собою разумѣется, что при сходствѣ формы,—*содержание* въ концѣ безмѣрно богаче и выше, чѣмъ въ началѣ. Вся система Гегеля состоитъ въ проведении этого основного принципа чрезъ всѣ явленія материальнаго и нравственнаго, индивидуального и общественнаго бытія. По его мнѣнію, общій законъ развитія состоить въ некоторомъ возвращеніи 3-ей (высшей) ступени развитія (синтезиса) къ 1-й (тезису). Но возвращеніе это только кажущееся; въ дѣйствительности, на 3-ей ступени идея или явленіе уже развилилъ все, что въ нихъ заключалось, и поглотили свою противоположность; такъ что, въ сущности, здесь происходитъ не возвращеніе къ тезису, а разрѣшеніе противорѣчія между нимъ и второю ступеню развитія: 1) тезисъ или положеніе, 2) антитезисъ или отрицаніе положенія и 3) синтезисъ или отрицаніе отрицанія.

Мы могли бы иллюстрировать этотъ законъ въ паглядныхъ примѣрахъ, но за недостаткомъ места отсылаемъ любопытныхъ къ самому Гегелю, или къ труду г. Карпева «Философія истории». *Прим. авт.*

Но если не даютъ, то зачѣмъ же было бы Провидѣнію «влагать въ насъ» эту необходимость развитія, какъ препятствіе къ достиженію идеала гармоніи?

Гр. Толстой привелъ примѣръ глубокаго по смыслу ветхозавѣтнаго сказанія, но, приведя его, отчасти выпустилъ изъ виду унаслѣдованный нами отъ этого прародителя грѣхъ, вслѣдствіе каковаго унаслѣдованія ребенокъ, напр., самъ по себѣ отнюдь не можетъ (не говоря уже о законахъ физической наследственности, обусловливающей и наклонности наследственныхъ) являть собою образъ какого-то безусловнаго совершенства, отчасти же, приведя сказаніе, не дать ему полнаго объясненія, какого оно заслуживаетъ,— не докончилъ его... Всякое знаніе есть, дѣйствительно, какъ бы первый шагъ къ раздвоенію природы человѣка, ибо оно разрушаетъ внутреннюю его гармонію, разшатываетъ, такъ сказать, ту здоровую въ немъ основу, отъ которой зависятъ умѣнье непосредственнаго пользованія благами жизни, съѣжестъ и живость непосредственныхъ чувствъ человѣка. Въ этомъ смыслѣ первое грѣхопаденіе и было, пожалуй, первою ошибкою человѣческаго разума, повлекшою за собою его извращеніе и нарушение естественной гармоніи въ человѣкѣ. Этимъ же, однако, своимъ паденіемъ человѣкъ поставленъ въ необходимость напрягать всѣ силы свои къ самоусовершенствованію («необходимость развитія» гр. Толстого), къ борьбѣ со всякимъ зломъ, какъ частнымъ проявленіемъ, въ окружающемъ мірѣ, той же нарушенной въ самомъ человѣкѣ гармоніи, и — договаривайтѣ же — *человѣку общицу побѣда*. Христіанство возстановляетъ естественный смыслъ человѣческаго ума—черезъ освобожденіе его отъ вѣковыхъ его путъ и чуждыхъ ему наслоеній: «познайте истину и истина сдѣлаетъ васъ свободными!» Этимъ же оно указываетъ человѣку нормальный типъ его развитія, при которомъ знанія,

пріобрѣтаемыя имъ, не должны уже обусловливать собою окончательной потери естественной гармоніи и равновѣсія его духовныхъ силъ. Ибо главное выставляемое здѣсь человѣку требованіе—не столько въ «образованіи» въ нашемъ смыслѣ (въ смыслѣ одной гимнастики ума, въ которой истина на второмъ планѣ, а главное—форма и діалектика), сколько—въ просвѣщеніи, въ смыслѣ параллельного развитія качествъ ума и сердца. «Цѣль образованія, говоритъ Ст. Милль, состоить въ томъ, чтобы внушить самую глубокую любовь къ истинѣ, не принимая въ разсчетъ результатовъ, къ которымъ можетъ повести проявленіе этой силы...» («Цивилизація»). «Не сама истина, говоритъ Лессингъ (являющій намъ поразительный примѣръ, до какой степени можетъ охватывать собою человѣка глубокая любовь къ истинѣ, къ безкорыстному исканію ея),—не сама истина, которою обладаетъ, или думаетъ что обладаетъ, человѣкъ, возвышаетъ его, но тѣ усиія, которыя онъ употребляетъ для достижениія ея. Обладаніе дѣлаетъ человѣка гордымъ и лѣнивымъ. Если бы Богъ держалъ въ правой рукѣ своей *всю* истину, а въ лѣвой—одно постоянно живое стремленіе къ ней, хотя бы съ непремѣннымъ условиемъ вѣчно заблуждаться, и сказалъ бы мнѣ: «выбирай»—я со смиренiemъ бросился бы къ Его лѣвой руке и сказалъ: «Отецъ, дай! Вѣдь чистая истина—для Тебя Одного....»

Христіанство же внесло въ міръ свѣтлую идею, разрушивъ наслѣдственность грѣха. По ней, человѣкъ, хотя и не рождается, какъ думаетъ гр. Толстой, на свѣтѣ совершеннымъ, и не вполнѣ удовлетворяетъ требованіямъ «безусловной гармоніи, въ смыслѣ правды, красоты и добра», но собственными своими усилиями онъ можетъ впослѣдствіи приблизиться, до некоторой степени, къ этому совершенству, къ этой гармоніи, можетъ подавить въ себѣ, силою *воли*, и

сознанія, наследственную наклонность, грѣхъ. Въ этомъ-то личномъ совершенствованіи и заключается весь смыслъ индивидуального прогресса, прогресса правственной личности, по ея собственному, свободному почину. Такой прогрессъ ближе, понятнѣе, доступнѣе и дороже патурамъ левипскаго склада,—и вотъ почему гр. Толстой могъ, въ IV томѣ, отрицая, съ одной стороны, всякий прогрессъ, какъ общий законъ человѣчества, въ то же время признавать этотъ общий законъ прогресса «начертаннымъ въ душѣ каждого человѣка и только вслѣдствіе заблужденія переносящимся въ исторію» (см. «Прогрессъ и опред. образ.»). Не отрицать прогрессъ нужно было бы ему, а указать лишь на то, что человѣчество, живя различными и неуловимыми для определенія сторонами своего бытія, не можетъ одновременно прогрессировать всѣми этими, столь многоразличными сторонами, а непремѣнно одна изъ нихъ, при прогрессированиіи въ общемъ, будетъ отставать,—указать на тотъ, напр., фактъ, что современная цивилизациѣ, давая болѣе материальныхъ благъ и удобствъ, достигаетъ всего этого па счетъ личности, ея свободы и индивидуального развитія, что, при богатствѣ нашемъ умственномъ и техническомъ, осталась пренебреженною и забытою другая внутренняя сторона души, заявляющая законное свое право на возстановленіе; словомъ, относясь не такъ страстно къ дѣлу, гр. Толстой могъ бы повторить вмѣстѣ съ Кавелинымъ, что «исканіе личнаго удовлетворенія и изслѣдованіе объективныхъ условій, развиваясь рядомъ, бокъ-о-бокъ, рѣдко совпадали по времени: то одно, то другое опережало и выдвигалось впередъ, простоянливая и заслоняя другое. Эпохи, когда субъективная психическая потребности стояли на первомъ планѣ, смѣнялись периодами дѣятельныхъ преобразованій и изслѣдований объективныхъ условій и пренебреженіемъ этическихъ требо-

ваній — и наоборотъ...» (Задачи этики, стр. 40). Въ ограниченной сферѣ своей отдельной личности, гр. Толстой достигъ той, «побѣды», понятіе которой само собою вытекаетъ изъ его опредѣленія «необходимаго» развитія, какъ преиятствія къ достиженію высшаго идеала гармоніи и которое было имъ совсѣмъ выпущено при этомъ опредѣленіи: пріобщеніемъ къ народу, провѣркой на немъ своего міросозерцанія, своей прежней жизни, онъ, какъ древній Аантей, сынъ земли, которая придавала ему новые силы каждый разъ, какъ онъ къ ней прикасался,— обрѣталъ тоже новую для себя силу — «силу къ жизни», ибо обрѣлъ и позналъ истинный ея смыслъ! Почему же, закончивъ въ себѣ самомъ борьбу противорѣчивыхъ началъ, достигнувъ самъ примиренія дисгармонирующихъ силъ духа и уже счастливый побѣдой,— гр. Толстой не хочетъ, не допускаетъ возможнымъ — видѣть *въ другихъ* эту борьбу также законченною въ богатой гармоніи вполнѣ развитаго образованія, а скорѣе хотѣли бы видѣть насть возвращенными къ простотѣ и однобразію примитивныхъ формъ непосредственной жизни? Прекрасны въ народѣ его простодушіе, его цѣльная здоровая душевная основа, но прекрасны онъ тамъ потому, что мы сами утратили все это,— и утратили вслѣдствіе злоупотребленія нашимъ образомъ мыслей. Для народа, какъ говорить Ж. Зандъ, всякая мысль, всякая форма мысли нова, и истина, даже въ образѣ «общаго мѣста», исторгаетъ у него слезы восторга и сознанія. «Горе тому, кто злоупотребляетъствомъ души. — Благословеніе тому, кто ведеть его къ годамъ зрѣлости и мужества, сохрания въ немъ невинность безъ нѣвѣжества!..» Великое, скажемъ и мы; дѣло,— привести здравый, простой человѣческій смыслъ не искалъченнымъ сквозь рядъ всякихъ «системъ», навязанныхъ теорій, привести его нсвредимо сквозь горнило рефлексіи и непокидающихъ сомнѣній!

Премудростей, говорить нашъ народъ, много, мудрость одна. Въ этомъ указывается именно на степень различныхъ уклоненій отъ нормального человѣческаго пониманія вещей — общаго *каждому* человѣку, на какой бы ступени развитія онъ ни стоялъ. Человѣкъ всегда будетъ болѣе человѣкъ въ томъ, какъ онъ чувствуетъ, а не въ томъ, какъ онъ думаетъ. Специалисты исключительнаго мышленія, люди одного ума — сами несчастны, ибо что можетъ быть болѣе жалкое, какъ положеніе — не имѣть силы хотѣть, а оно у нихъ именно такъ... Ибо, для того, чтобы существованіе человѣка было полно, гармонично, ему нужно обладать и развитымъ умомъ, и свѣжимъ чувствомъ, и способностью къ практической дѣятельности. Послѣдняя же, за ослабленіемъ воли, также парализуется, прогрессируетъ лишь умъ одинъ; но жизнь въ мышленіи одномъ не только не приближаетъ человѣка къ «цѣлому» существованію, но прямо ведетъ его прочь отъ него. Думанье — болѣзнь нашего вѣка; оно не само прогрессируетъ, въ смыслѣ прибавленія ума думающему, а питается на счетъ ослабленія чувства, воли, т. е. именно на счетъ «цѣльности» всѣхъ отиравленій человѣческаго духа. «Aujourd’hui l’homme désire immensement, mais il veut faiblement». *)

Злоупотребляя систематически нашимъ образомъ мыслей, не доразвиваясь до полной гармоніи нашихъ духовныхъ силъ, а напротивъ все болѣе преусиѣвая въ одностороннемъ развитіи ума одного; мы незамѣтно для себя самихъ, приходимъ, въ одинъ прекрасный день, къ тому кульминаціонному пункту «развитія», съ котораго, къ ужасу своему, мы видимъ себя уже окончательно разобщенными съ тою младшею братіею, которая осталась тамъ, гдѣ-то внизу, сохранивъ, однако, невредимымъ свой естественный здравый смыслъ: происходитъ то, что называется «своя своихъ непознаша»... Въ этомъ смыслѣ

*) Въ наши дни человѣкъ желаетъ безпредѣльно, но хочетъ слабо.

и нужно понимать часто дѣлаемыя гр. Толстымъ въ IV томѣ противопоставленія между «людьми прогресса» и «просто людьми». «У насъ, говорить онъ, есть люди для прогресса, есть готовыя программы для воспитанія людей прогресса, а нѣтъ просто людей, нѣтъ программъ для воспитанія просто людей» (205). Это какъ бы pendant къ тому, что за 100 лѣтъ говорилъ Руссо про своихъ современниковъ: «У насъ есть физики и геометры... а нѣтъ гражданъ».

Вопросъ о томъ, почему наши знанія и искусства ложны, почему—изъ того, что народъ не воспринимаетъ ихъ,—гр.: Толстой заключаетъ о ихъ ложности, онъ разрѣшаетъ тѣмъ, что *ихъ* миллионы, а *насъ* тысячи; что, слѣдовательно, знанія эти и искусства «не хороши, ненормальны; и что намъ надо съ помощью народа выработать себѣ другія, болѣе соотвѣтственныя всѣмъ намъ, и народу, и обществу». (Ясно-пол. шк.: за Н.—Дек., 377).

«Картина Иванова возбудить въ народѣ только удивленіе предъ техническимъ мастерствомъ, но не возбудить никакого, ни поэтическаго, ни религіознаго чувства; тогда какъ это *самое* поэтическое чувство возбуждено лубочною картинкой: Иоанна Новгородскаго и чорта въ кувшинѣ. Венера Милосская возбудить только законное отвращеніе предъ наготою, предъ наглостью разврата—стыдомъ женщины. Квартетъ Бетховена послѣдней эпохи представится непріятнымъ шумомъ, интереснымъ развѣ только потому, что одинъ играетъ на большой дудкѣ, а другой на большой скрипкѣ. Лучшее произведеніе нашей поэзіи, лирическое стихотвореніе Пушкина представится наборомъ словъ, а смыслъ его презрѣнными пустяками...» (тамъ же). О томъ, что ему «страшно сказать» относительно поэзіи и музыки—мы уже говорили въ началѣ. Дѣйствительно, страшно сказать; еще страшнѣе согласиться, что такъ легко повидому, если только выпустить хоть на одну минуту изъ подъ ногъ ту почву, на которой рѣшили

мы стоять при чтенії IV тома и которая, «обезстрашивая»; если можно такъ выразиться—всѣ сго парадоксы; заставляетъ смотрѣть на нихъ исключительно съ точки зреінія пройденныхъ самимъ авторомъ фазисовъ собственно духовнаго роста. Въ самомъ дѣлѣ, нуженъ былъ глубокій разладъ между надломленнымъ рефлексіей чувствомъ и мыслию, нужна была отчаянная и упорная борьба за пріобрѣтеніе себѣ самому гармоніи духа, чтобы такъ исключительно смѣло и все въ одномъ направленіи идеализировать *все* на одной сторонѣ и отрицать *все* на другой: идеализировать тамъ именно, гдѣ онъ усмотрѣлъ недостающую въ самомъ себѣ гармонію, и отрицать тамъ, гдѣ эта гармонія его испытала нарушеніе. Кромѣ того, нужно было все еще продолжать быть увѣреннымъ въ непогрѣшімость своего непосредственнаго чувства, которое, на самомъ дѣлѣ, давнымъ· давно перестало быть непосредственнымъ, чтобы такъ упорно, такъ упрямо отстаивать «безусловную» идеальность того, что, на самомъ дѣлѣ, идеально лишь очень условно, а именно поскольку, какъ мы уже говорили, служить показателемъ таго, что, въ процессѣ нашего духовнаго развитія, нами должно быть еще завоевано! Неужели же правда, что *односторонность глубины*, достигнутая въ упоминаемыхъ гр. Толстымъ произведеніяхъ Пушкина, Глинки, Бетховена, Гёте и др., что эта односторонность, «уродливость» исключила и должна навсегда исключить у ихъ авторовъ всякую дальнѣйшую возможность гармоническаго развитія въ ихъ сферѣ? Иначе сказать: послѣднимъ фазисомъ въ развитіи ихъ творчества не была ли, развѣ, та же сознательная простота и чувство мѣры, которыя поразили гр. Толстого въ Ѳедѣкѣ, крестьянскомъ мальчикѣ, проявившемъ будто бы такую сознательную (?) силу художника, какой, навсей своей необъятной высотѣ развитія, не можетъ проявить Гёте? *)

*) Г. Михайловскій (Критич. опыты, 1887. «Десница и шуйца гр. Л. Толстого») такъ пытается объяснить парадоксы гр. Толстого, увлекшагося

Оттого, напр., Пушкинъ, Глинка и народны, ибо про-
чувствовать и прострадать искренно весь репертуаръ возмож-
ныхъ для человѣка настроеній, какую бы ступень развитія
онъ собою ни характеризовали, и, прочувствовавши ихъ,
такъ съумѣть выразить въ поэтическомъ словѣ или въ звукѣ,
безъ всякой фальшивой идеализациіи и утрировки,—возмож-
но лишь для генія, въ высшей степени гармонически раз-
вившаго себѧ, завоевавшаго себѣ эту гармонію, выстрадав-
шаго ее вмѣстѣ съ ростомъ своего духа, и, потому, знаю-
щаго сї цѣну. Федька же ей цѣпы не знаетъ, ибо она ему
даромъ съ неба свалилась, онъ даже и не понимаетъ, что
онъ «гармонический» человѣкъ,—но потому же самому онъ
и не застрахованъ отъ того, чтобы завтра-же, въ званіи
уже не гармонического слуги, не отпустить безмыслицы въ
родѣ того, что онъ хочетъ «пріобрѣсти себѣ въ чистоту
комнату» и т. п. Если правда въ этомъ смыслѣ, на той
сторонѣ и только потому, что, каѣтъ говорить гр. Толстой,
«ихъ (народа) миллионы, насы тысячи», то *такихъ* правдъ,
можно, пожалуй, найти слишкомъ даже достаточно для того,
чтобы заставить нась отказаться отъ всего сдѣланнаго че-

такъ творчествомъ Федьки: существуетъ, по мнѣнію г. Михайловскаго, классификація типовъ человѣческаго развитія; этотъ вотъ, напр., человѣкъ раз-
вить «по типу развитія» Фауста или Гете, тотъ—по типу Федьки; Федька,
дескать выше Гете не въ смыслѣ *ступени* развитія, а въ смыслѣ *типа* раз-
витія, что сравнивать, поэтому, Федьку съ Фаустомъ можно лишь тогда, когда
Федька «получитъ возможность подняться на высшую ступень *своего типа* раз-
витія». Это же разсужденіе г. Михайловскаго примѣняетъ къ объясненію и
превосходства, по Толстому, произведеній народнаго творчества. Этотъ, напр.,
мотивъ развить по типу мотива «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ», тотъ—по
типу «Я помню чудное мгновенье» и т. п. Но все это не различные типы, а
ступени лишь *одного* общечеловѣческаго развитія вообще (Федька—Фаустъ—
Толстой теперешній) и что они не могутъ каждый порознь имѣть *свой* циклъ
прогресса, доказываетъ уже то обстоятельство, что они могутъ и зачастую
дѣлаются это,—свободно переходить другъ въ друга. Напр., простой мотивъ
народной пѣсни можетъ всегда очутиться въ мелодіи высшаго, по *степени*
развитія, творчества.

ловѣчествомъ въ области искусствъ, знаній и т. п. Гдѣ такая пропорція, тамъ нельзѧ не признать большинство (миллионы), проявляющимъ своею косностью, пожалуй, и «нормальное» свойство природы человѣка, но проявляющимъ его съ худшей ея стороны.

Если бы человѣчество, въ своей духовной жизни, всегда оставалось *такимъ* нормальнымъ, оно не сдѣлало бы ни одного шага впередъ. Ходъ его культуры только и возможенъ благодаря тому «исключительному», ложному и одностороннему», какъ говорить гр. Толстой, пути, которымъ шли всегда двигатели нашей цивилизациі. Въ этомъ направленіи человѣкъ, по самому несовершенству своему, исчерпываетъ всѣ силы въ смыслѣ односторонности. Интенсивность творчества фатально гонитъ его все далѣе отъ гармоніи и равновѣсія остальныхъ его силъ. Но намъ, обыкновеннымъ смертнымъ, столь же далекимъ отъ геніевъ, какъ и отъ косной массы, скромно и съ надеждою стучащимся въ двери храма знанія,—другіе пути для развитія нашего вовсе не заказаны, и для того, чтобы, напр., намъ полюбить Пушкина или Бетховена, не нужно быть непремѣнно «такъ-же испорченными какъ и они»; любовь къ нимъ не ставить непремѣннымъ условiemъ *sine qua non*, чтобы мы «разлюбили» то, что намъ нравилось прежде, въ годы дѣтства и т. д., чтò правится нашей младшемъ братіи изъ народа, чтобы мы измѣнили младенческимъ идеаламъ, изъ которыхъ успѣли уже выrosti при поступательномъ движениіи своемъ,—но, напротивъ, расширяя лишь сферу доступныхъ нашему эстетическому вкусу наслажденій, дѣлаеть возможнымъ для насъ находить удовольствіе въ красотахъ всякаго рода. Въ этомъ смыслѣ для пониманія прекраснаго, дѣйствительно, нужна подготовка...

Французскій переводъ статьи гр. Толстого: „ЖЕНЩИНАМЪ.“ *)

Ainsi qu' il est dit dans la Bible, à l'homme et à la femme il a été donné une loi: à l'homme la loi du travail; à la femme celle de l'enfantement des enfants.

Quoique d'après notre science et «nous avons changé tout cela,»—la loi pour les hommes comme pour les femmes reste immuable, comme le coeur reste à sa place, et sa violation se punit infailliblement de mort.

La différence ne consiste en ce que pour l'homme la violation de la loi se punit par la mort dans un avenir tellement proche, qu'on peut l'appeler le présent,—quand à la femme, la violation de la loi se punit dans un avenir beaucoup plus éloigné. La violation générale à la loi de tous les hommes anéantit l'humanité immédiatement; la violation à la loi de toutes les femmes anéantit l'humanité de la génération future...

La violation des hommes à la loi a commencé il y a longtemps dans les classes, qui ont pu opprimer les autres, et en augmentant toujours a continué jusqu'à nos jours, et de nos jours est arrivé à l'apogée, jusqu'à la folie, jusqu'au délire, consistant dans la rénégration excessive de la loi, jusqu'à l'idéal, exprimée par le prince Blochine et partagée par Renan et par tout le monde civilisé: les machines travailleront et les hommes seront des boules de nerfs qui se déliquent.

*) Для журнала «Revue de Paris et de St.-Pétersbourg.»

Il n'y a presque pas eu de violation à la loi par les femmes. Elle ne se manifestait que dans la prostitution et et dans des crimes partiels d'infanticides. Les femmes de la classe opulente satisfaisaient à leur loi, tandis que les hommes ne satisfaisaient à leur loi, c'est pourquoi les femmes devinrent plus fortes, et continuent à gouverner les hommes, qui se sont écartés de la loi et par consequent ayant perdu la raison. On dit généralement, que la femme (la Parisienne préférablement, qui est sans enfants) est devenue si séduisante, profitant de toutes les ressources de la civilisation, que par son prestige elle s'est emparée de l'homme. C'est non seulement une erreur, mais c'est tout-à-fait au rebours. Ce n'est pas la femme sans enfants qui s'est emparée de l'homme, mais c'est la mère, celle, qui a rempli son devoir, tandis que l'homme n'a pas rempli le sien. Cette même femme, qui avec le secours de l'art n'a pas d'enfants et qui séduit l'homme par ses épaules et ses boucles, ce n'est pas elle qui a l'ascendant sur lui, mais c'est la femme depravée par l'homme, qui s'est abaissée jusqu'à lui, homme depravé, qui elle-même, ainsi que lui, viole la loi et qui, comme lui, perd toute l'idée raisonnable de la vie. De cette erreur provient cette surprenante sottise, que l'on nomme «les droits de la femme». La formule de ces droits est: ah! toi, homme, dit la femme, tu t'es éloigné de ta loi du travail réel, et tu veux, que nous portions le pesant fardeau de notre travail réel? Non, si c'est ainsi, alors nous autres, de même que toi, saurons faire le semblant du travail, que tu fais dans les banques, dans les ministères, dans les universités, dans les académies; nous voulons, de même que toi, sous le semblant de la division du travail, profiter du travail d'autrui et vivre en satisfaisant seulement notre sensualité... Elles parlent ainsi; et au resumé elles prouvent, qu'aussi bien que les hommes et même

mieux qu'eux, elles savent pratiquer ce semblant de travail. Ce que l'on nomme «la question de la femme» n'a pu naître que du milieu des hommes, qui se sont écartés de la loi du travail réel. Les hommes n'ont qu'à retourner au travail et cette question tombera d'elle-même. La femme, ayant son travail spécial, inévitable, n'exigera jamais le droit de participer au travail de l'homme,—dans les mines, au labourage. Elle n'aurait pu exiger que de participer dans le travail fictif des hommes de la classe opulente.

La femme de notre société a été plus forte que l'homme, et l'est actuellement, non pas par son prestige, ni par son habileté d'exécuter le semblant trompeur du travail, comme fait l'homme, mais parcequ'elle ne s'écartait pas de la loi; mais parcequ'elle supportait, au risque de sa vie, avec la tension jusqu'aux derniers termes, le véritable travail, dont l'homme de la classe riche s'est dispensé. A ma mémoire, la violation de la femme à la loi a commencée, c'est à dire, sa chute, et à ma memoire elle s'accomplit de plus en plus. La femme, ayant perdu la loi, a crue, que sa force, consiste dans le prestige de sa beauté, de ses charmes; ou dans l'habileté trompeuse d'exécuter le semblant du travail intellectuel. Eh bien, à l'un et à l'autre les enfants gènent. Et voilà que les femmes-mères, qui seules, parmi les classes riches, ont la puissance dans leurs mains, la perdent pour tomber au niveau des filles perdues et leurs ressembler.

Le mal a pris de fortes racines, il augmente de jour en jour et sous peu il s'emparera de toutes les femmes des classes riches; et alors elles égaleront les hommes et, comme eux, perdront le sens raisonnable de la vie. Mais le temps n'est pas encore perdu.

Si seulement les femmes comprenaient leurs significations, leurs forces et si elles les employaient à l'œuvre pour sauver

leurs maris, leurs frères, leurs enfants! Pour sauver toute l'humanité!

Oh vous, femmes—mères des classes riches, le salut contre tous les maux de l'humanité de notre monde se trouve dans vos mains!

Ce ne sont pas les femmes, occupées de leur taille, de leur tournure, de leur coiffure et de leurs attractions pour les hommes, qui contre leur volonté, par le manque de précautions enfantent avec désespoir des enfants et les confient à des nourrices; et non plus ce ne sont pas celles qui fréquentent différents cours et parlent des centres psychomotornes, des calculs différentiels et qui également tâchent de se débarasser de l'accouchement des enfants, afin que cela ne gêne pas leur folie, qu'elles appellent «dévelopement»,—mais ce sont ces femmes et mères, qui ayant la possibilité d'éviter les accouchements, se soumettent volontairement, avec connaissance de cause, à cette loi immuable, éternelle, étant bien persuadées, que la peine et le fardeau de cette soumission est l'apanage de leur vie,—c'est dans les mains de ces femmes, de ces mères de nos classes riches, que se trouve, plus que dans toutes les autres, le salut de l'humanité de notre monde contre les malheurs qui les accablent.

Oh vous, femmes, mères, vous qui vous soumettez volontairement, avec connaissance de cause à la loi divine, vous seules connaissez dans notre misérable difforme, abominable société, vous seules connaissez le véritable sens de la vie, d'après la loi de Dieu et vous seules, par votre exemple, pouvez montrer aux hommes cet innéfable bonheur de la vie, selon Dieu, dont ils sont privés. Vous seules connaissez ces transports, ces joies, qui comblient toute l'existence, cette félicité, qui est le partage de celui, qui ne s'éloigne pas des lois divines. Vous connaissez le bonheur de l'amour conjugal—

bonheur sans fin, qui ne s'abrège pas comme les autres bonheurs, mais qui forme le commencement d'un nouveau bonheur,—l'amour de l'enfant. Vous seules, quand vous êtes simples, humbles et soumises à la volonté de Dieu,—vous connaissez non pas ce travail faux, travail, que les hommes de votre classe appellent le travail, mais vous connaissez le véritable travail, tracé par Dieu aux hommes et vous connaissez les véritables récompenses, la félicité qu'il donne. Vous connaissez cela, quand après les joies de l'amour, vous attendez avec agitation, avec frayeur et espérance cette pénible position de grossesse, qui vous rendra malade pour 9 mois, qui vous mettra à un doigt de la mort; vous connaissez les conditions du véritable travail, quand vous attendez avec joie l'approche et l'augmentation de plus grandes douleurs, après lesquelles commence la félicité, à vous seules connue. Vous connaissez cela alors, quand à l'instant même, après ces souffrances, sans repos, sans trêve, immédiatement, vous entreprenez un autre genre de souffrance et de travail—l'allaitage de votre enfant, pour lequel vous faites abnégation de la plus forte nécessité de la vie—du sommeil; ainsi des mois entiers, des années entières vous ne dormez pas régulièrement une seul nuit, et parfois, souvent même, ne fermez pas les yeux pendant toute la nuit, quand, les bras allourdis, seule, vous marchez, vous bercez, avec un affreux déchirement de cœur, le pauvre enfant malade. Et quand vous faites tout cela, n'étant pas encouragées, sans être vues, sans attendre ni louange, ni récompences, alors vous savez la différence ce que c'est que le faux travail, le trompeur appareil de la vanité humaine, et ce que c'est que le véritable travail, qui est l'accomplissement de la volonté de Dieu, travail, dont vous ressentez la désignation dans votre cœur. Vous savez, si vous êtes une véritable mère, que c'est peu,

que personne n'a été temoin de votre travail, ne vous en a pas loué mais a trouvé seulement que cela doit être ainsi, mais que même ceux, pour lesquels vous avez travaillé, non seulement ne vous remercient pas, mais souvent vous tourmentent et vous font des reproches.

Et, avec l'enfant suivant, vous recommencez: vous souffrez de nouveau, vous subissez un affreux travail invisible, et de nouveau vous n'attendez de personne de récompence et vous ressentez la même satisfaction. Si vous êtes telles, vous ne direz pas, ni après deux, ni après vingt enfants,—c'est fini de travailler, comme un travailleur de 50 ans ne dira pas, que c'est fini de travailler quand il a la force de manger, de dormir et que ses muscles demandent du travail,—si vous êtes telles, vous n'esquiverez pas les soucis de l'allaitage de votre enfant et vous ne le confieriez pas à une autre mère, comme l'ouvrier ne donnera pas à un autre à finir un travail commensé et presque terminé, parceque dans ce travail vous avez mis tout votre âme, et votre vie est d'autant plus complète et plus heureuse, plus il y a de ce travail.

Et si vous êtes telles,—et qu'il y a encore de telles, pour le bonheur de l'humanité,—alors cette même loi d'exécution de la volonté de Dieu, qui guide votre vie, vous l'appliquerez à l'existence de votre mari, de vos enfants et de vos proches. Si vous êtes telles, sachant par vous même, que ce n'est que dans l'abnégation du travail, sans témoins, sans récompence, au risque de la vie, que se trouve la vocation de l'homme, qui lui donne la satisfaction,—alors ces mêmes prétentions vous les exigerez des autres, vous encouragerez à ce même travail votre mari, et pour ce même travail vous préparerez vos enfants.

Ce n' est qu' une telle mère, qui considère l' enfantement comme une éventualité désagréable, et les plaisirs de l' amour, le confort de la vie, et les distractions comme le but de l' existence, seulement une telle mère élèvera ses enfants de manière à qu' ils aient le plus possible de plaisirs et à ce qu' ils en profitent à l' excès: elle les nourira délicatement, soignera leur toilette, leur procurera des plaisirs fictifs, ne leur enseignera pas l' abnégation du travail de l' homme et de la femme, mais leur enseignera à éviter ce travail. Seulement une pareille femme, ayant perdu le juste raisonnement de son existence, pourra sympathiser à ce travail trompeur et faux de l' homme, dans lequel son mari, s' étant délivré de ses devoirs, trouve le moyen de profiter avec elle du travail des autres. Seulement une telle femme choisira un pareil mari à sa fille et n' estimera pas les hommes pour se qu' ils sont, mais pour ce qui dépend d' eux: leur position sociale, leur argent et leur savoir de profiter du travail d' autrui.

Quand à la véritable mère, connaissant par expérience la volonté de Dieu, elle préparera ses enfants à accomplir le véritable travail. Pour de telles mères, voir son enfant nourri à l' excès, excessivement paré sera un supplice, parceque tout cela, elle le sait bien, entravera pour lui l' accomplissement de la volonté de Dieu. Il ne faudra pas demander à une telle mère ce que l' on doit enseigner aux enfants: elle sait pourquoi, dans quoi consiste la vocation des hommes et pour cela elle sait ce qu' il faut leur apprendre et à quoi les préparer. Une telle mère ne choisira pas un mari pour sa fille d' après la blancheur de ses mains et l' élégance de ses manières, mais connaissant fermement, ce que c' est que le travail, ce que c' est que l' imposture, respectera, estimera et exigera toujours et partout, à commencer par son mari, le véritable travail, et méprisera ce faux et fictif travail, qui a pour but d' eviter le véritable travail.

Une telle mère accouchera selon les lois de la nature, allaitera elle même ses enfants, préparera elle même, leur nourriture, leur vêtement, les lavera, les enseignera elle même, dormira avec eux, les éclairera, parcequ' elle est convaincu que c' est le but de son existence. Seulement une telle mère ne cherchera pa la garantie de leur bonheur dans la fortune du mari, dans les diplômes, mais cultivera dans leur coeur cette même faculté d' abnégation à la volonté de Dieu, qu' elle sent dans son coeur, la faculté de supporter courageusement le travail, au péril de la vie, parcequ' elle est persuadée, que seulement dans l' accomplissement de ses devoirs consiste la garantie et la félicité de la vie.

Seulement une telle femme, une telle mère peut, avant sa mort, dire tranquillement à Celui Qui l' a envoyé dans ce monde, et à Celui, Qu' elle a servi en enfantant et en élévant des enfants, qu' elle aime plus que soi même,—elle seule peut dire tranquillement, après avoir remplie ses devoirs : «Aujourd' hui Tu délivre Ton esclave!». Et c' est là, la subilme perfection, à laquelle aspire l' humanité.

Voila quelles sont les femmes, qui ayant remplies leur destination, dominent les hommes dominateurs; de pareilles femmes préparent une nouvelle génération d' hommes et constituent l' opinion publique, c' est pourquoi dans les mains de ces femmes se trouve le pouvoir suprême de sauver l' humanité des existantes et menaçantes calomités de notre temps.

Oui, je le repète,—oh vous, femmes et mères, c' est dans vos mains, plus que n' importe dans lesquelles, que se trouve ie salut du monde!